

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

УГОДИЛО ЗЕРНЫШКО
ПРОМЕЖ
ДВУХ ЖЕРНОВОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Собрание сочинений

Александр Солженицын

**Угодило зёрнышко
промеж двух жерновов**

«ВЕБКНИГА»

Солженицын А. И.

Угодило зёрнышко промеж двух жерновов / А. И. Солженицын — «ВЕБКНИГА», — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-96-912278-9

Книга Л. И. Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» (29-й том Собрания сочинений) — продолжение его первой мемуарной прозы «Бодался телёнок с дубом» (28-й том). В годы изгнания (1974—1994) писателю досталось противостоять как коммунистической системе, так и наихудшим составляющим западной цивилизации — извращённому пониманию свободы, демократии, прав и обязанностей человека, обусловленному отходом изрядной части общества от духовных ценностей. Но два «жернова» не перемололи «зёрнышко». Художник остался художником, а потому очерки изгнания оказались и очерками литературной жизни — как в горько-ироническом смысле, так и в смысле прямом и высоком: нам явлена история создания «Красного Колеса». Литература здесь неотделима от жизни, а тяжкие испытания — от радостного приятия мира. Потому в очерках подробно обрисована счастливая семейная жизнь, потому здесь с равной силой говорится «на чужой стороне и весна не красна» и — с восхищением! — «как же разнообразна Земля», потому так важны портреты — близких друзей и обаятельных людей, лишь однажды встреченных, но вызвавших незабываемую приязнь. Палитра книги редкостно многокрасочна, но буквально любой её эпизод просвечен главной страстью Солженицына — любовью к России, тревогой о её судьбе.

ISBN 978-5-96-912278-9

© Солженицын А. И.

© ВЕБКНИГА

Содержание

Часть первая[2]	9
Глава 1	9
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Александр Солженицын

Угодило зёрнышко промеж двух жерновов

Очерки изгнания

Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

В издании сохранены орфография и пунктуация автора.

Его взгляды изложены в работе «Некоторые грамматические соображения» (Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1997. Т. 3).

В настоящем Собрании сочинений статья будет напечатана в т. 24.

Редактор-составитель Наталия Солженицына

Дизайн, макет Валерий Калныныш

© А. И. Солженицын, наследники, 2021

© Н. Д. Солженицына, составление, комментарии, 2021

© «Время», 2021

* * *

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

**УГОДИЛО
ЗЁРНЫШКО
ПРОМЕЖ
ДВУХ ЖЕРНОВОВ**

ОЧЕРКИ ИЗГНАНИЯ



*Жене моей Але —
спасительному крылу
моей взвихренной жизни*

*Сторона ль ты моя сторонюшка,
Сторона ль моя незнакомая!
Что не сам-то я на тебя зашёл,
Что не добрый меня конь завёз, —*

*Занесла меня кручинушка.
(Русская песня)¹*

¹ Эпиграф взят из подготовленного М. Д. Чулковым «Собрания разных песен» (Ч. 1–4, 1770–1774), дополненного и перепечатанного Н. И. Новиковым в 1780–1781. Песня под номером 148 (Породила да меня матушка...) // Новое и полное собрание Российских песен. Ч. 1. М.: Университетская типография Н. Новикова. 1780. С. 161. Строки из варианта этой песни стоят эпиграфом ко второй главе «Капитанской дочки» А. С. Пушкина.

Часть первая² (1974–1978)

Глава 1 Без прикрепы

За несколько часов вихрем перенесенный из Лефортовской тюрьмы, вообще из Великой Советской Зоны – к сельскому домику Генриха Бёлля под Кёльном, в кольце плотной сотни корреспондентов, ждущих моих громовых заявлений, я им ответил неожиданно для самого себя: «Я достаточно говорил в Советском Союзе, а теперь помолчу».

Странно? Всю жизнь мучился, что не дают нам говорить, – вот наконец вырвался – теперь-то и грянуть? теперь-то и пальнуть по нашим тиранам?

Странно. Но с первых же часов – от неохватимой здешней лёгкости? – как замкнулось во мне что-то.

Едва войдя к Бёллю, я просил заказать разговор в Москву. Вот тут я думал: не соединят. А соединили! И отвечает – сама Аля! На месте! И я мог своим голосом заверить её, что – жив, что – долетел, вот, у Бёлля.

А вы? А – вы? (Ну – не растерзали же детей. Но – что там творится в квартире?)

Аля – ясным голосом отвечает. Через бытовые подробности даёт мне понять, что все свои дома, что гебисты ушли, и – сказать нельзя, но умело намекает: квартира не тронута, вот, мол, дверь чинят. Так понять – что обыска не было?? Это меня поразило! Уж в обыске был уверен, и столько же тайного на столах – неужели не взяли?

Ещё до моего приезда звонила Бёллю «Бетта» (Лиза Маркштейн) из Вены, и адвокат Хееб из Цюриха, вылетают сюда. Они позвонили и Никите Струве в Париж, готов лететь сюда и он. Сразу весь мой Опорный Треугольник³, во жизнь! Но я почувствовал, что такой плотности мне не вместить, – и просил Струве лететь сутками позже прямо в Цюрих.

Напряжение, которое держало меня этот долгий день⁴, теперь оборвалось, добрёл до отведенной комнаты и рухнул. А среди ночи проснулся. Дом Бёлля, выходящий прямо на улочку посёлка, был как в осаде: мелькали светá от автомобильных фар, подъездов, разворотов; у самого дома гудела корреспондентская толпа; при открытом, по европейскому теплу, окне слышна была немецкая речь, французская, английская. Они теснились и ждали утренней добычи новостей, какого-то же наконец моего заявления? Какого? – всё главное уже сказано из Москвы.

Ведь я и в Советском Союзе почти полную свободу слова завоевал себе. Несколько дней назад я публично назвал советское правительство и ГБ – рогатой нечистью в метаниях перед заутреней, сказал и о безкрайности беззакония, и о геноциде народов, – что ещё добавлять сейчас? Простые вещи и без того всем известны. (Отнюдь нет?) А сложные – не прессе передать.

² Художественные произведения А. И. Солженицына цитируются по изданию: *Александр Солженицын. Собр. соч.*: в 30 т., М.: Время, 2006–2018. Публицистика Солженицына цитируется по изданию: *Александр Солженицын. Публицистика*: в 3 т. Ярославль: Верхняя Волга, 1995–1997. На сайте Солженицына издание представлено в распознаваемом виде: <http://www.solzhenitsyn.ru/books/publitsistika/>.

³ ...мой *Опорный Треугольник*... – так назвал автор своих тайных помощников: Элизабет Маркштейн в Вене, адвоката Фрица Хееба в Цюрихе и Никиту Струве в Париже, которым посвятил одноименный очерк, см.: *Александр Солженицын. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни (Пятое Дополнение: Невидимки. 12)* // Собр. соч. Т. 28. С. 574–591.

⁴ ...этот долгий день... – 13 февраля 1974 года – в деталях описан автором, см.: Собр. соч. Т. 28. С. 367–426 (гл. «Пришло молодцу к концу»).

Как бы я хотел вообще больше не делать никаких заявлений! В Союзе я последние дни чистил ими по нужде, обороняясь, – но здесь какая неволя? Да здесь и каждый неси что хочешь, тут не опасно.

Лежал в бессоннице, в сознании счастливого освобождения, но – и перепутанного разветвления мыслей: что и как теперь делать? да ещё сами вопросы не выдвинулись из темноты, так и не решить ничего.

В эту ночь прилетела Бетта, сердечно встретились. Она переломила моё настроение – вообще не выходить к корреспондентской толпе, до того не хотелось, ну никакого смысла я не видел выставяться как чучело. Убедила, что мы с Генрихом должны выйти, прогуляться по лужку, дать пофотографировать нас, без этого репортёры не могут уехать, прикованы. После завтрака вышли мы с Генрихом, посыпались от дверей вопросы в таком множестве – и пожелаешь, так не ответишь, и всё поразительная дребедень, вроде: что я чувствую в данную минуту? как спалось эту ночь? Не помню, каких-то несколько фраз я провякал. Потом мы с Генрихом медленно прошлись метров сто и назад. Фотокорреспонденты пятились перед нами по неровной земле в безумной тесноте, один пожилой больно упал на спину – жалко его стало, да и всем не позавидуешь в этой работе.

Следующее решение Бетты было, что моей гебистской белой рубашки надолго не хватит. И на марки, сунутые мне от ГБ в самолёте, пошла она и купила в сельском магазинчике случайных две. Я сразу и не смекнул, но та, которую надел на следующий день в дорогу, была в вертикальных серо-белых полосах, как частокол, весьма похожая на форму советских зэков в лагерях спецрежима.

Вскоре за тем в доме Бёлля появился и неторопливый, предельно солидный мой благодетель доктор Хееб, плотный, крупнолицый, весьма осанистый. Пока с нами Бетта, мне не надо было упражнять свой немецкий язык, но и ни о чём серьёзном говорить не предстояло. Да толпа корреспондентов опять требовала и требовала меня на выход, фотографировать, спрашивать.

Примчавшиеся со всех концов Европы и через океан – какого *заявления* ждали они? Я не понимал. Им нужна была всего какая-нибудь мелочь для крупного заголовка: что я исключительно устал или, наоборот, совершенно бодр? что я чрезвычайно рад оказаться в Свободном Мире? или что мне очень понравились германские шоссе-дороги? Вот и всё, и дальняя поездка каждого из них оправдалась бы. Но, только что из рукопашной, не мог я, если б и понял, их так развлекать.

А молчанием моим – они оказались крайне разочарованы.

Так – с первого шага мы с западной медиа не сдружились. Не поняли друг друга.

Тут приехал из Бонна вчерашний знакомец, встречавший меня от германского МИДа, господин Дингенс. Сели в светлой гостиной за стол, но по торжественной европейской привычке у жены Генриха Аннемарии на столе горело и несколько красных свечей. Дингенс привёз мне временный краткосрочный немецкий паспорт, без которого нельзя было существовать, а тем более двигаться. И официально, от правительства, предложил, что я могу избрать местом постоянного жительства Германию.

На минуту я заколебался. Такого намерения не было у меня. Но Германию – я любил. Наверно, оттого, что в детстве с удовольствием учил немецкий язык, и стихи немецкие наизусть, и целыми летними месяцами читал то сборник немецкого фольклора, «Нибелунгов», то Шиллера, заглядывал и в Гёте. В войну? – ни на минуту я не связывал Гитлера с традиционной Германией, а к немцам в жаркие боевые недели испытывал только азарт – поточней и быстрее засекать их батареи, азарт, но нисколько не ненависть, а при виде пленных немцев – только сочувствие. Так и жить теперь в Германии? Может быть, это и было бы правильно. А пока-то, пока-то вот сейчас – ну конечно в Цюрих, и главное, о чём два дня назад и подумать не

мог: ведь недописанный «Октябрь Шестнадцатого»⁵ так был скуден подробностями ленинской жизни в Цюрихе, ничего ведь позаочью не представишь, – а теперь сам, вот хоть завтра увижу?

С благодарностью, не наотрез, но пока отклонил.

Посидели сколько-то с Бёллями, не успели никакие мысли наладиться – снаружи известие: приехал и хочет меня видеть Дмитрий Панин с женой (со второй женой, с которой он эмигрировал, я её не знал). Я изумился: да ведь он же в Париже? с какой же лёгкостью так сорваться – и сразу перелететь? и не осведомить заранее? Да представляет ли он всё стеснение моего духа и времени сейчас?

Но это был Митя Панин, мой лагерный друг, «рыцарь Святого Грааля»⁶, надо было его знать!

Лет пять назад читал я рукопись его философской работы – как понять человечество и как его спасти. Допытывался у него: а – с чего же начать? Что именно делать *сейчас*? Но ему всегда была важна только законченность конструкции мировоззренческой – а практика? – это мелкое дело, это сделает кто угодно второстепенный. (Неотчётливое ощущение реальности и возможных движений в ней. Так, в 1961 он резко осуждал, что я дал «Ивана Денисовича» в «Новый мир» и тем приоткрыл своё подполье: надо было продолжать таиться в закрыте.) Спасение нашего народа от коммунизма? – да очень простое: надо убедить Запад дать *общий слитный ультиматум*: откажитесь от коммунизма, или мы вас уничтожим! – вот и всё. И советские вожди, несомненно, капитулируют. (Я поднял его на смех.) Недоработка лишь в том, твёрдо видел он, что западные страны – в расстройстве, не действуют в одном строю, вот и де Голль безрассудно отъединился от НАТО⁷. Чтобы их сплотить – надо действовать через Папу Римского («Крестовый поход!»). Два года назад Митя и взял на себя, так и быть, практическую эту задачу: он сам убедит Папу Римского! Для этого вместе с новой женой выехал по её израильской визе. И – был-таки принят Папой. Увы, Папа не усвоил такого прямого и простого образа действий. Тогда Митя стал готовить почву сам, издал книгу «Записки Сологодина»⁸ (его фамилия в «Круге первом») и ездил по Европе с презентациями её и с афишами, где с малого фото была увеличена наша с ним обнимка по плечам. Лекции были призывно-боевыми, всем безотлагательно подниматься и спланиваться против коммунизма, – но неразумные европейцы откликались вяло.

Часть из этого я знал ещё в СССР по *левым* письмам и газетным вырезкам, остальное он досказал мне теперь. Мы присели с ним в первой комнате, а жена его Исса перешла в гостиную, к красным свечам и нашей остальной компании. Так вот с чем приехал Митя: немедленно объявить и продемонстрировать перед этим скопищем прессы наш с ним Блок и Союз против коммунизма, насмерть. Распределение обязанностей он излагал (а вскоре и написал мне) так: ты – стремительный фрегат с расцветченными парусами, а я в нём – трюм идей, арсенал, вместе мы будем непобедимы! Боже, как это не вмещалось не только в мои первые часы прилёта, не только в мои усилия осваиваться в новом положении, но в простое же человеческое жизненное понимание: ну кто же так чего-нибудь добьётся? ну только на смех себя выставить. – Нет! Митя этого не понимал. Безполезно прошли все мои доводы, он был больно ранен моим отказом и уехал в обиду, если не в гнев.

А тут новый вызов: приехал и просится ко мне Янис Сапиет из русской секции Би-би-си (известный всем слушателям как «Иван Иваныч») – ну как его не принять? И – теплейший,

⁵ «Октябрь Шестнадцатого» – Узел II исторической эпопеи «Красное Колесо» // Собр. соч. Т. 9–10.

⁶ ...«рыцарь Святого Грааля»... – См. роман «В круге первом», гл. 46 (Замок святого Грааля), спор о рыцарстве – в гл. 65 (Поединок не по правилам).

⁷ ...де Голль безрассудно отъединился от НАТО. – В 1966 году Франция, возглавляемая президентом Ш. де Голлем, вышла из военной структуры НАТО (Организация Северо-Атлантического договора, функционирующая с 1949 года).

⁸ Книга Д. М. Панина «Записки Сологодина» вышла в Париже в 1973 году; позднее издавалась в переработанном виде под названием «Лубянка – Экибастуз» (М., 1990; М., 1991 и др.).

милейший оказался человек, и голос какой знакомый издавна. Уговорил он меня записать тут же интервью – да ведь для советских слушателей, и в самом деле надо. Записал (а что – не помню).

Мой паспорт на руках, можно бы и ехать, не утомляя больше Генриха. (Как бы не так! Весь мир узнал, что я у него, – и теперь почти месяц будут литься сюда телеграммы, письма, книги – и его секретарю труд регистрировать и всё пересылать в Цюрих.) И Бетта, и Хееб думали, конечно: лететь. Германию, значит, и глазком не посмотрим? А нет ли подходящего поезда? Нашёлся: завтра утром сядем в Кёльне и ещё засветло будем в Цюрихе. Великолепно.

Утром рано простились с гостеприимными Бёллями, поехали автомобилем. (А машин-то – всё ещё стояло несколько десятков в узких улицах посёлка, теперь все заворачивали ехать за нами.) Вкоротке достигли кёльнского вокзала, ничего в окно не рассмотрев, и наспех поднялись, чуть не лифтом, на нужный перрон, за две минуты до прихода нашего поезда.

Но эти две минуты! Прямо передо мной, ничем не загороженный, во всю свою стройность стоял – красавец, нет, слово не то, – чудо, Кёльнский собор! Даже не изощрённая отделка, а сколько глубины мысли и тяги к небесам в этих башнях, в этих шпилях. Я задохнулся и смотрел разинув рот. (А проворные корреспонденты, уже на перроне, фотографировали, «как я смотрю».) И тут же – подошёл и поглотил нас поезд.

День распогоживался, и смотреть в окно можно было без помех, с видами вдаль. Наш маршрут – у самого Рейна, по левому берегу его, через Кобленц и Майнц. Но Рейн казался грязным, опромышленным, уже и не поэтичным, даже около утёса Лорелеи (показали мне его). А до нынешней порчи, наверно, было картинно. Да главной красоты, многовековой угнеженности старых улочек и домов, – из проходящего поезда и не рассмотришь.

Как бывало в Москве: едва только встретимся с Беттой, Аля или я, идёт огневой обмен конспиративными соображениями, – а сейчас безпрепятственно бы обсуждать что угодно, а мысли никак не соберутся. Отойдя от сотрясения, его ощущаешь даже больше.

Уже известно было по пути, каким поездом меня везут, – и на станциях к вагону толпились кучки любопытных. Просили автографы на немецкое издание «Архипелага», я давал, то с вагонной площадки, то через окно, меня фотографировали, и всё в этой полосатой каторжанской рубашке, много таких снимков напечатано в Германии.

Середина февраля, а днём стало уже и жарко. После полудня достигли Базеля, проверка и на немецком вокзале, и на швейцарском. Пограничники меня уже ждали, приветствуют, тоже просят автограф. Теперь покатили по уютнейшей тесной Швейцарии, долинами между гор.

Вокзал в Цюрихе, не говорю – наш перрон, но и все другие перроны, и асфальтный влив с площади, и дальше площадь – всё было густо забито народом. Никакая полиция не могла обещать, давка оказалась смертная, без преувеличения. Сжало нас в тисках, очень выделялись на защиту два высоченных швейцарца, издатели из «Шерца» («Архипелаг» на немецком), выглядели они прямо-таки самоотверженными, с риском для себя освобождали перед нами хоть сантиметры. Казалось: можем и не выйти целыми? По-крохотному, помалу, помалу, наконец долились до ожидающего автомобиля, меня как пробку туда втокнули, затем я долго там сидел, окружённый извне доброжелательными и прямо восторженными, вопреки их характеру, швейцарцами, – пока собирали остальную нашу компанию, расселись, тогда поехали медленно, под всеобщее помахивание – и ещё сколько-то так на улицах. Цюрих с первого же моста, первых домов и трамваев выглядел очаровательно.

Поехали на квартиру к Хеебу. Он жил где-то в окраинной части города, в этажных домах новой постройки. Тотчас за нами корреспонденты обложили весь дом. Требовали, чтоб я вышел и сделал заявление. Не могу. Тогда – просто попозировать. Да уж *позировать* – и вовсе сверх сил, не вышел. (А в прессе накоплялась обида.)

Вскоре предупредили меня, что на квартиру Хееба приехал приветствовать меня штатд-президент Цюриха (то есть глава города) доктор Зигмунд Видмер. В гостиную вошёл он,

высокий, интеллигентный, с мягким, но торжественно напряжённым лицом, я поднялся ему навстречу – а он, с большим усилием и ошибками, произнёс приветственную фразу – по-русски! Тут я ответил ему двумя-тремя фразами немецкими (оживлялись клетки старой мозговой памяти и связывались цепочками) – он просиял. Сели, дальше говорили через Бетту. Напряжённость ушла, он оказался действительно очень мягким и милым. Выражал самые радушные чувства, предлагал всяческую помощь в устройстве. Арендовать квартиру? А в самом деле: пробыть у Хееба день-два, а дальше? Что-то надо решать.

Но решать – я ничего не находил. Да катились на меня требования, вызовы, советы. Через какой-нибудь час уже звонил из Америки сенатор Хелмс, в трубку переводчик приглашал меня немедленно ехать из Цюриха в Соединённые Штаты, там меня бурно ждут. Ещё вскоре из Штатов же – Томас Уитни, переводивший «Архипелаг» на английский, знакомый мне пока лишь по имени. – Ещё звонок, низкий женский голос, по-русски, с малым акцентом: Валентина Голуб, мать её из Владивостока увёз отступающий чех в 1920; а Валентина с мужем-чехом бежали из Праги от советской оккупации – и теперь здесь, в Цюрихе. «Нас тут, чехов-эмигрантов, шесть тысяч, мы все вам поклоняемся, готовы для вас на всё, рассчитывайте на нас!» И предлагают любую бытовую помощь, и русский же язык. Я – тепло благодарен, да мы перед чехами за август 1968 кругом виноваты, и это – уже настоящие мне союзники. Уговариваюсь о встрече.

А вот ещё какая телеграмма из Мюнхена: «Все радиопередатчики радиостанции “Свобода” к вашим услугам, открыты для вас. Директор Ф. Рональдс». Вó как! Говори на весь СССР сколько хочешь. Да наверно, и надо же! Да разве дадут хоть минуту сообразить?

Кажется, не в этот вечер, а в следующий, но уж доскажу тут. С низу лестницы, где стоит полицейский пост (а то бы все хлынули сюда, в квартиру), докладывают: рвётся ко мне, просит принять писатель Анатолий Кузнецов. Ах, тот самый Кузнецов, «Бабий Яр»⁹, поразивший в 1969 своим убегом на Запад (под предлогом изучать ленинское бытё в Лондоне – ну, вот как я сейчас буду в Цюрихе?), но и тем же, что теперь стыдится фамилии Кузнецов (ибо по требованию советских властей он судился против своего западного самовольного издателя) и потому отныне все свои будущие романы будет подписывать «Анато́ль» (а будущих, за пять лет, и не оказалось). Пропустили его. А времени, поговорить, – нету, накоротке, на ходу. Маленького роста, подвижный, очень искренний, и с отчаянием в голосе. Отчаянием, конечно, – как неудачно у него всё сложилось, но и с отчаянной опаской за меня, чтоб я не наделал ошибок, как он: мол, кессонная болезнь, переход из сильного давления в малое опасен тем, что разорвёт! надо – сперва не делать заявлений, надо оглядеться. (И прав же он!) Ах бедняга, и для этого летел из Лондона, вот на эти десять минут, предупредить меня, что я и сам знаю? Я прекрасно понимаю, как надо остерегаться, – не только не рвусь к прессе, я не знаю, в какой рукав голову спрятать от её беспощадной осады.

Так я и не вышел к репортёрам. Уже темно, спать бы? Жена Хееба даёт мне снотворное, всё равно не спится. Дохнуть бы воздуха. В полной темноте выхожу на балкон, подышать в тишине. Задняя сторона дома, 4-й этаж, – и вдруг зажигается сильный прожектор, на меня, уловили! сфотографировали! ещё который раз. Не дают дохнуть. Ухожу с балкона. Ещё какие-то таблетки.

В суматоху цюрихской вокзальной встречи угодил и Никита Струве – третья вершина Опорного Треугольника. А Цюрих, оказывается, подходящее место: тут и адвокат, сюда из Вены легко приехать Бетте – из Парижа, вот Никите. Отсюда легче распутывать наши дела,

⁹ «Бабий Яр» – «роман-документ» А. В. Кузнецова об оккупации Киева и уничтожении нацистами евреев был опубликован с большими цензурными купюрами в журнале «Юность» в 1966 году (№ 8–10) и отдельным изданием в 1967-м (М.: Молодая гвардия). В полной версии издан несколько раз в 1990–2000-х годах.

запутанные конспирацией. А ведь ждутся ещё и арьергардные бои за «невидимок», кого ГБ прижмёт.

Был отдалённый друг за Железным Занавесом – а вот проступает и вживе. Невысокого роста, в очках, не поражая наружностью, ни тем более одеждой, лишь бы удовлетворительна, это и на мой вкус. А – быстрый, пронизательный взгляд, но не для того, чтобы произвести впечатление на собеседника, а себе самому в заметку и в соображение. С Никитой Алексеевичем оказалось всё так просто и взаимопонятно, как если б его не отделяла целая жизнь за границей: духом – он всё время жил в России, и особенно в её литературных, философских и богословских проявлениях на чужбине. В 1963 он книгой «Христиане в СССР» вовремя оповестил Запад о хрущёвских гонениях на Церковь. Вместе с тем – широкий эрудит и в западной культуре. (Кончил Сорбонну, пробовал древние языки, арабский и их философию; оставился на русском языке, литературе.) Очень деликатен (не мешает ли это ему в издательской деятельности, там надо уметь быть суровым); как бы опасался проявить настойчивость, а всё высказывал в виде предположений (к этой его манере ещё надо привыкнуть, не пропускать его беглых замечаний). Ещё больше опасался впасть в пафос и при малом к тому повороте высмеивал сам себя.

И вот досталось ему после провала «Архипелага» тайком-тайком готовить взрыв первого тома, главный удар в моём бою с ГБ¹⁰. Пришлась публикация даже раньше, чем я надеялся, – ещё прежде русского Рождества и даже до Нового, 1974, года; и, несмотря на каникулярную на Западе пору, – какой ураган звонков, запросов и требований обрушился на издательство ИМКА тут же.

Дел у нас с ним предстояло множество. Прежде всего – второй том «Архипелага», хотя и перестал он быть таким огненно-срочным, как нам виделось в Москве, уж я теперь не так торопил. А пора начинать и французский перевод «Телёнка» (плёнки ещё раньше прибыли тайным каналом). А ещё пора... Да все возможные публикации хотел бы я гнать скорей, скорей.

Дальше не помню, какая-то карусель дня два-три. Ездили с супругами Видмерами (фрау Элизабет оказалась сердечнейшая), с Беттой и со Струве в горы, посмотреть дом Видмеров, предлагаемый мне для уединённой работы. (Только тем оторвались от потока репортёрских машин, что штаттпрезидент своей властью устроил сразу позади нас трёхминутный запрет проезда.) Домик этот, в Штерненберге, на предгорном хребтике, очень мне понравился: вот уж поработаю!

Зачем-то нужна была мне большая лупа, наверно, наши вывезенные плёнки рассматривать. Заходим с Беттой в магазинчик, выбираю удобную лупу – продавец со страстью отказывается брать с меня деньги; препираемся, но так и пришлось взять подарком (и очень к ней потом привык). Посещаем внушительную адвокатскую контору Хееба на главной улице Цюриха Банхофштрассе, тут в штате и жена, и сын его Герберт, симпатичный умный молодой человек, и ещё какая-то девица, и множество каких-то папок, папок, не до этого мне теперь. Да мне и очки срочно нужны, по соседству заказываю очки.

Потом мы всей компанией должны где-то пообедать, и тут я их всех (кроме Бетты) поражаю, что в ресторан не хочу: истомляет меня эта чинная обстановка, размеренно-медленный (потеря времени!) культ поедания, смакования, за всю советскую жизнь, 55 лет, кажется, раза два только и был я в ресторане, по неотклонимости (да ведь и жил на обочинах жизни и постоянно без денег). Сейчас, да при всеобщем внимании, появиться в ресторане – мне со стыда

¹⁰ ...главный удар в моём бою с ГБ. – Одну из трёх тайно хранившихся машинописей «Архипелага...» в августе 1973-го захватил КГБ. Солженицын узнал об этом в начале сентября и немедленно послал Н. А. Струве в Париж распоряжение печатать, с таким сопровождением: «Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед ещё живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда Госбезопасность всё равно взяла эту книгу, мне ничего не остаётся, как немедленно опубликовать её». В первом издании этот текст был напечатан на авантитуле (Архипелаг ГУЛАг: Опыт худож. исслед., 1918–1956. Paris: YMCA-Press, 1973 ([ч.] I, II)). В последующих изданиях не воспроизводился.

сгореть. Хееб явно шокирован, но я прошу ехать в какую-нибудь простую столовую, да чтобы побыстрей. Хееб с Беттой советуются, не без труда находят, вне центра города, столовую при каком-то производстве. Рабочие и служащие густо сидят, видят меня, узнают, приветствуют, корреспондентов в этом месте почему-то не помню. Но по улицам они нас сопровождают и безцеремонно подсовывают к моему рту длинные свои микрофонные палки: записать, о чём я разговариваю со спутниками! Не только ни о чём секретном, но вообще ни о чём нельзя сказать, чтоб не разнесли тут же в эфир. Это вынести невозможно. Меня взрывает: «Да вы хуже гебистов!» Отношения мои с прессой всё портятся и портятся.

Но главное же! – ленинский дом посмотреть, Шпигельгассе. Какое скрещение, какая удача! почти не выбирая, попал я на жилу «Октября Шестнадцатого», на продолжение начатых ленинских глав! В первую же прогулку и идём с Беттой. (А зря: получилась необдуманная демонстрация, в газетах вывернули: пришёл поклониться дому Ленина!) Предвкушаю, сколько теперь смогу в Цюрихе собрать ленинских материалов.

Как раз в эту прогулку настиг меня на улице Фрэнк Крепо из Ассошиэйтед Пресс, тот милый благородный Крепо, который так помог мне в разгар встречного боя, утвердиться тогда на ногах, – и как же теперь отказать ему в интервью в благодарность? Дал небольшое [[см. здесь](#)]. (Небольшое-то небольшое, но что во мне горело – судьба архива, без которого я не мог двигаться, а какая у Али с ним уже удача – я не знал, и наивно придумал пригрозить Советам: не отпустят архив исторический – буду лепить им о современности.) Однако другие корреспонденты, бредущие за нами толпой, видели, как Крепо подошёл ко мне на улице, я обрадовался – и через несколько часов у него уже интервью. Кто-то, из зависти или оправдать свою неудачу, дал сообщение, что Крепо привёз мне из Москвы тайное письмо от жены (а ничего подобного). На следующий день читаем это во всех газетах. А для Крепо это – *закладка*, ему сейчас откажут в советской визе, корреспонденту запрещено такое! Он подавлен. Значит, что же делать? Значит, новое заявление прессе, к их толпе перед домом Хееба вышел и выражаю возмущение такой дезинформацией. А пусть-ка тот корреспондент да само агентство или газета извинятся.

Наивен же я был, что раскается корреспондент, агентство или газета! – хваткой, углядкой, догадкой они и соперничают, на том и стоят сколько стоят. Так, уже случай за случаем, эти первые дни на Западе, дни открытого сокосновения с кипящей западной медиа, – вызвали у меня неприятное изумление и отталкивание. Во мне поднялось густое неразборное чувство сопротивления этим дешёвым приёмам: грянула книга о гибели миллионов – а они какую мелкую травку выщипывают. Конечно, это было неблагоприятно с моей стороны: вот такая западная медиа, как она есть, – она и построила мне мировой пьедестал и вызволила из гонений? Впрочем, не только она: бой-то вёл я сам. И хорошо знали гебисты, что если посадят меня, то тем более всё моё будет напечатано и им же хуже. Пресса же спасала меня и по инерции сенсации. И по той же инерции вот всё требовали и требовали заявлений и не понимали моего упорства.

Думали: молчу, пока семью не выпустили? Но уже уверен я был, что не посмеют не выпустить. Или – архивов не пропустят? Так и ясно было, что ни бумажки не пропустят, а всё зависит от находчивости Али и помощи наших доброжелательных иностранцев. Нет, не это. Срабатывал во мне защитный писательский инстинкт: раньше моего разума он осознал опасность выговориться тут в балаболку. Меня примчало на Запад на гребне такой размашистой волны, теперь тут можно изговориться, исповторяться, отбиться от дара писания. Конечно, политическая страсть мне врождена. И всё-таки она у меня – *за* литературой, после, ниже. И если б на нашей несчастной родине не было погублено столько общественно активных людей, так что физикам-математикам приходится браться за социологию, а поэтам за политическое ораторство, – я отныне и остался бы в пределах литературы.

А тут ещё столкнулся с западной медиа в её яростном расхвате: подслушивают, подсматривают, фотографируют каждый шаг. Да неужели же я, не угождавши Дракону на Востоке, – буду теперь угождать и притворяться перед этими на Западе? Окутываете меня славой? – да не

нужна она мне! Не держался я ни одной недели за хрущёвскую «орбиту» – ни одной и за вашу не держусь. Слишком отвратными воспринимал я все эти ухватки. «Вы хуже гебистов!» – эти слова тотчас разнеслись по всему миру. Так с первых же дней я много сделал, чтоб испортить отношения с прессой. Сразу была заложена – и на многие годы вперед – наша ссора.

А вторая – безоткладная атака, не дающая подумать и очнуться, – была от почты. Ещё я нигде не жил, ещё не решил, где жить, квартировал дней несколько у Хееба – уже привозил он ящиками телеграммы, письма со всего мира, тяжёлые книги (а к Бёллию катились само собой), – да на всех мировых языках, и безнадежно было их хоть пересмотреть, перебрать пальцами, не то чтобы читать и отвечать. Да эти ящики – первые настойчиво требовали: куда ж их складывать? где я живу? Надо было скорей определить, где я живу.

У меня издавна была большая симпатия к Норвегии: северная снежная страна, много нёчи, печей, много дерева в быту и посуда щепенная, и (по Ибсену, по Григу) какое-то сходство быта и народного характера с русским. А ещё же недавно, в разгаре советской травли, они меня защищали и приглашали, где-то уже «стоял письменный стол» для меня, – у нас с Алей было предположено, что если высылка – то едем в Норвегию. (И Стига Фредриксона я тогда приглашал быть моим секретарём в предвидении именно скандинавской жизни.) Конечно – не в Осло, но в какую-нибудь глушь, рисовалось так: высокий обрывистый берег фиорда, на обрыве стоит дом – и оттуда вдаль вид вечно бегущего стального океана.

Так надо немедленно ехать смотреть Норвегию!

Моя поездка тотчас по высылке привлекла внимание и удивление. (Аля в Москве услышала по радио – не удивилась: поехал искать место.) На железнодорожных станциях Германии и Швеции узнавали меня через окно с перрона, на иных станциях успевали встретить делегации. По Копенгагену водили целый день радушно: уже на вокзале – пить пиво в полицейском участке, и малый их духовой оркестрик играл мне встречный марш; потом – по улицам, с председателем Союза датских писателей, осматривать достопримечательности, и всход на знаменитую Круглую башню. (Тут я увидел и церемонийный развод стражи в медвежьих шапках у королевского замка, о котором раньше только слышал в Бутырках рассказ Тимофеева-Ресовского.) Наконец – и в парламент, пустой зал, заседания не было. Дальше потащили меня в Союз писателей, на вручение какой-то здешней премии. Говорили все по-датски, не переводя, я сидел-отдыхал-кивал, а после церемонии какой-то из писателей подошёл ко мне вплотную и, наедине, впечатал выразительно на чистом русском: «Мы вас ненавидим! Таких, как вы, – душить надо», – Красный интернационал так сразу же мне о себе напомнил.

Вечером того дня мы с Пером Хегге, старым знакомцем по Москве, тогда всё ещё корреспондентом «Афтенпостен», поплыли на пароме (большом пароходе, со многими сотнями пассажиров, с буфетами, развлечениями и аттракционами для них) в Осло. Мне и побродить было невыносимо сквозь это шумное многолюдье, в каюте я лёг и пролежал ночь пластом. А утром, войдя уже в залив, на подходе к Осло, позвали меня в капитанскую рубку – посмотреть их технику слежения-вождения и полюбоваться видом. Уже в тёплой куртке, купленной с Беттой в Цюрихе, вышел я и на высокий нос, холодный был ветер, но прозрачно солнечный воздух, – и увидел внизу у пристани кучки людей с плакатами «God bless you», не сразу и догадался, что это – ко мне относится. Долго мы причаливали, сходила толпа – эти доброжелатели дожидались меня и светло встретили.

Шли по длиннейшей главной улице, Хегге сказал: «Знаете, кто это вот сейчас на тротуаре с вами поздоровался? Министр иностранных дел». Да, не в лимузине ехал в министерство, не в «чёрной волге», а пешком. (Вспомнил я опять же бутырский рассказ Тимофеева-Ресовского, что и норвежский король ходит пешком по Осло и без охраны.) Теперь и тут – в парламент, и тоже не день заседаний, но встретил меня парламентский президиум. Тут я объяснил в первый раз цель своего приезда, и председатель парламента, указав на свод законов, обещал их полную защиту, пока стоит Норвегия.

Но главный поиск мой был – фиорд, какой-нибудь фиорд для первого присмотра, и мы с Пером Хегге и норвежским художником Виктором Спарре, очень самобытным, поехали мимо главного норвежского озера Мьёсиншё с голубой водой, валунными берегами, а выше – чёрно-лесистыми горками; и дальше долинами реки Леген и Гудбрандской, углубляясь в норвежские горы, суровые, с причернью обнажённых отвесных скал, до фиолетовости тёмной синевой оснований и замёрзшими на высоте сине-зелёными водопадами. В доме художника Вейдеманна принимали нас с норвежско-русской радушностью, и открывалось нам «ты», так же естественное в норвежском языке, как в русском, и норвежский горец дарил мне свой кинжал в знак братства. И все зданья – дома и церкви, были рублены из брёвен, как у нас, а крыты иные – берестою, и только двери окованы фигурным железом. На заборах торчали снопики овса и проса для малых птиц, чтоб они не погибли зимою. Ехали мимо деревянных церквей – зданий ещё IX века, с языческими украшениями на крышах (крестил население тут – король Олаф Второй, топором, в начале XI века), перед входом в ограду – столб с железным замыкаемым ошейником для выставляемых грешников (не в одной проклинаемой России подобные меры применялись!); и оружейные хижины перед церковью, где вооружённые прихожане оставляли оружие. Суровость, зимность и прямота этой страны прилегали к самому сердцу. Верно я предчувствовал: такое где ещё сегодня найдёшь на изнеженном Западе? В этой обстановке – я мог бы жить.

(И по норвежскому телевидению, первому, по которому мне нельзя было не выступить, я сказал, нахожу теперь черновую запись: «Норвежцы сохранили долю спасительного душевного идеализма, которого всё меньше в современном мире, но который только один и даёт человечеству надежду на будущее». Может быть, целиком по Норвегии это и не так, но в ту поездку и в те встречи я так ощутил.)

И правда же: что значил и для Норвегии, и для всей нашей одряхлевшей цивилизации плот «Кон-Тики»!¹¹ Весь нынешний благополучный мир всё дальше уходит от естественного человеческого бытия, сильнее интеллектуально, но дряхлеет и телом и душой. Так, для решения проблемы, откуда мигрировали жители тихоокеанских островов, только и можно сидеть в удобстве с бумагами и обсуждать теории. А у Тура Хейердала хватило мужества утеранных нами размеров – отправиться доказать путь на примитивном плавучем средстве. И – доказал! И вот покоится «Кон-Тики» в особом музейном здании национальной гордостью Норвегии – и я с почтением рассматриваю его. В гараже музея он кажется большим – но какая же щепка в океане.

Так норвежцы мне по духу – наикблизкие в Европе?

Тут же меня везут и посмотреть какое-то продаваемое под Осло имение – помнится, 170 гектаров, по ним рассыпана избыточная дюжина живописных, под старину, и с древними очагами, домов – для кого это настроено? а в доме владелицы с вычурной обстановкой угощают шипучими напитками, покупайте имение за безделицу в 10 миллионов крон. Я, конечно, и близко не соблазнился, а может, и жаль: тогда бы на 8 месяцев раньше узнал бы от Хееба о моих вовсе не просторных денежных возможностях.

В Осло же наткнулись мы, что в одном кинотеатре как раз идёт фильм об Иване Денисовиче. Конечно, пошли. Фильм англо-норвежский, Ивана Денисовича играет Том Кортни¹². И он, и постановщики приложили честно все старания, чтобы фильм был как можно верней подлиннику. Но что удаётся им передать – это только холод, холод и – условную – обречённость. А в остальном – и в быте, и в самом воздухе зэческой жизни – такая несхваченность, такая

¹¹ ...плот «Кон-Тики»! – В 1947 году археолог Тур Хейердал с пятью спутниками на построенном ими деревянном плоту пересёк Тихий океан, отправившись из Перу и достигнув острова Туамоту в Южной Полинезии (8000 км за 102 дня). Книга Хейердала «Путешествие на Кон-Тики» (1947) стала мировым бестселлером; первое издание на русском языке: М.: Молодая гвардия, 1967 (перевод Т. Л. Ровинской, В. И. Ровинского).

¹² One day in the life of Ivan Denisovich. UK / Norway, 1970. Directed by: Caspar Wrede. 100 min.

необоримая отдалённость, подменность. Журналисты спрашивали меня после сеанса, я – что ж? – похвалил. Участники фильма – не халтурили, старались от сердца. Но самому так стало ясно, что никем как нашими – с советским опытом – актёрами этого не поставить. Зинула мне эта непреходимая, после советских десятилетий, пропасть в жизненном опыте, мировосприятии. (Ещё не видел я тогда позорного фильма Форда «В круге первом»¹³, равнодушно-рвачески запущенного в мир.) И – разве мне дожидаться при жизни истинной постановки?

Гнались за мной корреспонденты уже и по Норвегии, так что когда мы ночевали в доме Вейдеманна (сам он был в отъезде), то под горой полицейский пост перегородил дорогу преследователям. И еле пропустил ко мне внезапно приехавшего из Москвы – Стига Фредриксона! Родной, рад я ему был как! Он – смущён: дала ему Аля записку ко мне, он спрятал в транзисторный приёмник, но гебисты догадались проверить и отобрали, и содержания утерянного он не знал. А главное: могли его теперь попереть из Москвы, лишить аккредитации. (К счастью, обошлось.)

Но – что у нас в доме там?? Тут я узнал: пока обыска не было, ничто не взято. Наружное наблюдение – круговое, прежнее, но через Стига и других дружественных корреспондентов (вот тебе и пресса! это – другая пресса) Аля разослала важную часть моего архива по надёжным местам. Нет и теперь уверенности, что с обыском ещё не придут. Но все близкие держатся хорошо, в квартиру к нам безбоязно приходят, Аля ведёт себя твёрдо, молодцом, главнокомандующим.

Теперь назад со Стигом все сведения и впечатления для Али я уж, конечно, не писал, передал устно.

А к фиорду мы с Хегте подъехали в Андальснесе, и оказался он – отлогоберегий извилистый морской залив, а горы – отступя. Не виделся тот обрыв, на котором у самого океана ставить бы дом изгнанника. Был я на Западе уже больше недели, внутри меня менялось восприятие и понимание, но что-то требовалось, чтобы дозреть. Вот эта морская вьёмистость низменного берега вдруг дояснила мне то, что зрело. Находясь в брюхе советского Дракона, мы много испытываем стеснений, но одного не ощущаем: внешней остроты его зубов. А вот норвежское побережье, изнутри Союза казавшееся мне какой-то скальной неприступностью, вдруг дало себя тут понять как уязвимая и желанная атлантическая береговая полоса Скандинавии, вдоль неё недаром всё шныряют советские подводные лодки, – полоса, которую, если война, Советы будут атаковать в первые же часы, чтобы нависнуть над Англией. Почти нельзя было выбрать для жительства более жаркого места, чем этот холодный скальный край.

Дело в том, что я никогда не разделял всеобщего заблуждения, страха перед атомной войной. Как во времена Второй Мировой все с трепетом ждали химической войны, а она не разразилась, так я уже двадцать лет уверен, что Третья Мировая – не будет атомной. При ещё не готовой надёжной защите от летящих ракет (у Советов она куда дальше продвинута пока) лидеры благополучной, наслаждённой своим благополучием Америки, проигрывающие войну во Вьетнаме своему обществу, никогда не решатся на самоубийство страны – на первый атомный удар, хотя б Советы напали на Европу. А для Советского Союза первый атомный удар и тем более не нужен: они и так заливают красным карту мира, отхватывают в год по две страны, – им повалить сухопутьем, танками по североевропейской равнине да вот прихватить десантами и норвежское побережье, как не упустил Гитлер. (Оттого-то СССР охотно взял обязательство не нанести атомного удара *первым*, он и не нанесёт.)

Так, ступя на берег первого фиорда, я понял, что в Норвегии мне не жить. Дракон не выбрасывает из пасти дважды.

¹³ Den første kreds [The first circle (USA)]. Denmark / Sweden, 1973. Directed by: Aleksander Ford. 98 min.

А ещё за норвежские дни я задумался: на каком же языке будут учиться наши дети? Кто понимает норвежский в мире? А печатаешь что-нибудь в скандинавской прессе – в мире едва-едва замечают или вовсе нет.

Возвращался в Швейцарию – опять поездами, через Южную Швецию, паромом (теперь другим, для перевозки поездов), Данию, Германию, чтобы больше повидать Европу из окна. (Парому знаменательно пересек путь советский корабль, и, при близком виде советского флага, так странно было ощутить свою отдельность от СССР. С того же парома, в предвечерних сумерках, силясь я разглядеть поподробней гамлетовский Эльсинор.) Ехал – и перебирал, перебирал мысленно страны. Ещё как будто много оставалось их не под коммунизмом, а как будто и не найдёшь, где же приткнуться: та – слишком южная, та – беспорядочная, та – по духу чужа. Ещё одна, кажется, оставалась в мире страна, мне подходящая, – Канада, говорят – сходная с Россией. Но текли недели, ждалась семья, откладывать с выбором было некогда.

Да Цюрих – подарок какой для ленинских глав. Да и нет уже времени ездить выбирать, – ладно, пусть пока Швейцария.

И остался я в крупном городе – как не любил, не предполагал жить. Хотя правильно выбирать главное место жительства сразу и окончательно – в те первые западные месяцы никак было не до выбора его. Слишком много наваливалось, тяготело или ждалось.

А Зигмунд Видмер времени не терял. Тотчас по моему возврату предложил арендовать в университетской части города, в «профессорском» квартале, половину дома. Поехал я, посмотрел. Скученные друг ко другу соседние дома, да в Цюрихе везде же так, а есть маленький, на две сотки, зеленотравный дворик, и место сравнительно тихое, по изгибу улицы Штапферштрассе, и движение небольшое (прицепилось спереди это «ш», а «Тапферштрассе» была бы – «Храбрая улица» или «Неустрашимая»). Предлагаемые мне полдома, по вертикали, – подвал хозяйственный, но и с просторной низкой комнатой, можно детям зимой играть; на первом этаже гостиная и столовая с кухней, на втором – три спальни (разместимся всемером?), и ещё мансарда скошенно-потолочная, из двух комнатёнок, – вот тут и писать можно. Ещё и чердачок поверх крутой лесенки.

Не успел я поблагодарить и согласиться – на следующий же день городская управа привезла в аренду кой-какую мебель (можно потом вернуть, а понравится – купить). Но и ещё не успела эта первая мебель стать неуверенными ножками в разных комнатах, как лучшую и просторнейшую из них, прямо по ковровому полу, стали заваливать ворохи привозимых из конторы Хееба телеграмм, писем, пакетов, брошюр, книг: те хотели меня поздравить с приездом, те – пригласить в гости, другие – убедить что-то немедленно читать, третьи – что-то немедленно делать, заявлять или с ними встречаться. Знал я уже по взрыву после «Ивана Денисовича», как в таком всплеске перемешиваются и порывистая сердечность, и звонкая пустота, и цепкий расчёт. (А враждебные письма – поразительно: и здесь были анонимные, ну казалось бы – чего им бояться?) Знал, что нет безнадежнее и пустее направления деятельности, как сейчас бы заняться разборкой и классификацией этого растущего холма: на многие месяцы он охотно обещал съесть все мои усилия, а начни отвечать – только удвоится, а не стань отвечать никому – перейдёт в сердитость.

Сладок будешь – расклюют, горек будешь – расплюют.

Я предпочитал второй путь. (Ещё ж были письма на скольких языках – на всех главных и вплоть до латышского, венгерского; представляли люди, что у меня сразу же по приезде и контора работает?)

Тут взялась мне помогать энергичная фрау Голуб. На сортировку писем дала двух студентов-чехов, они приходили после занятий. Что-то с посудой мне придумала; раз принесла готовую куриную лапшу, другой раз – суп с отварной говядиной (такую точно ел в последний раз году в 1928, в конце НЭПа, никогда с тех пор и глазами не видел). Показала близкие магазины, где что покупать без потери времени. Очень выручила. Стал я и хозяйничать.

Дом запирался, а калитка сорвана, пока нараспашку. Ну, не сразу же узнают, где я, ничего? Как бы не так: в первые же сутки какой-то корреспондент выследил моё новое место, тихо отснял его с разных сторон – и фотографии в газету, с оповещением: Солженицын поселился на Штапферштрассе, 45. Ах, будь ты неладен, теперь кто хочешь валяй ко мне в гости. И действительно, в распахнутую калитку стали идти, и шли, цюрихские или приезжие, кто только надумал меня посетить. (Приходили и типы весьма сомнительные, мутные, по их поведению и речам.)

Пока я ездил в Норвегию – а события своим чередом. В американском Сенате сенатор Хелмс выступил с предложением дать мне почётное гражданство США, как в своё время дали Лафайету и Черчиллю, только им двоим [см. [здесь](#)]. Теперь со специальным нарочным он прислал мне письмо с приглашением ехать в Штаты [см. [здесь](#)]. Ещё в моём доме не было путём мебели, не включена потолочная проводка после ремонта, на полах груды неразобранных писем и бандеролей, никакой утвари, – и на единственной крохотной пишущей русской машинке, какая в Цюрихе нашлась, я выстукивал ему ответ [см. [здесь](#)] – политически совсем не расчётливый, но в моём уверенном сопротивлении: не дать себя на Западе замотать. Политическому деятелю мой в этом письме отказный аргумент кажется неправдоподобным, измышленной отговоркой: в моём сенсационно выигрышном положении – не рваться в гущу публичных приветствий, а «с усердием и вниманием сосредоточиться»? Но я именно так и ощущаю: если я сейчас замочусь и перестану писать – то приобретенная свобода потеряет для меня смысл.

Из лавины писем выловили, дали мне приглашение и от Джорджа Мини, от американских профсоюзов [см. [здесь](#)]. Потребительница всего нового и сенсационного, Америка ждала немедленно видеть меня у себя, и такая поездка в те недели была бы сплошной триумфальный пролёт и, конечно, почётное гражданство, – но я должен бы ехать тотчас, пока в зените, нарасхват, этот миг был неповторимый, общественная Америка – страна момента (как отчасти весь общественный Запад). (И Советы так и ждали, что я поеду, и в оборону мобилизовали десяток писателей и всё АПН, гнали целую книжку против меня на английском, «В круге последнем»¹⁴, полтора ста страниц, и в мае советское посольство её рассылало, раздавало по Вашингтону¹⁵.)

Но я по духу – оседлый человек, не кочевник. Вот приехал, на новом месте столько забот – и что ж? всё кинуть и опять ехать? А в Америке – что? новые бурные встречи, и уже не отмолчишься перед ТВ и газетами, аудиториями, – и молоть всё одно и то же? в балаболку превращаться?

Вели меня совсем другие заботы.

Первая – спасётся ли мой архив? Эти, уже почти за 40 лет, с моего студенческого времени, мысли, соображения, выписки, подхваченные из чьих-то рассказов эпизоды революции, на отдельных листиках буквочками в маковые зёрна (легче прятать)?; а последние годы и концентрированный «Дневник романа», мой собеседник в ежедневной работе? и сама рукопись ещё не оконченного «Октября», тем более – не спасённого публикацией, как уже спасён «Август»? и ещё, вразброс по Узлам¹⁶, написанные отдельные главы?

¹⁴ ...знали... книжку против меня на английском, «В круге последнем»... – то есть перевод издания: В круге последнем / [ред. И. Трояновский]. М.: АПН, 1974. 170 с. Среди авторов – Бондарев Ю., Боровик Г., Виткевич Н., Долматовский Е., Дьяков Б., Михалков С., Рекемчук А., Решетовская Н., Серебрякова Г., Шпиллер В.

¹⁵ Я её 12 лет и не видел, только сейчас перелистываю. Как и вообще: в недели перед высылкой я пропустил всю газетную кампанию против меня, я тогда в газеты не заглядывал, какие там имена подписываются и как меня основательно мажут на десятилетия вперёд. – Примеч. 1986. (Все датированные примечания – авторские. – Ред.)

¹⁶ ...вразброс по Узлам... – Вот как объясняет автор избранный им метод Узлов: «“Красное Колесо” – это повествование о революции в России. Как бы движение России в революционном вихре. Это очень большой материал, а если ещё учесть, что он растягивается на годы – <...> то невозможно было бы описать так много действий и так много лиц на таком большом протяжении времени. Поэтому я избрал метод узловых точек, или Узлов. Я выбираю малые отрезки времени, по две недели, по три, где – или происходят самые яркие действия, или закладываются решающие причины событий. И я описываю подробно только вот эти маленькие отрезки. Это и есть Узлы. Так, по узловым точкам, я как бы всю форму движения, всю форму этой сложной кривой передаю. “Август Четырнадцатого” – первый из таких Узлов» (Интервью с Бернаром Пиво для французского

Вторая, очень тревожная, мысль: а вообще – сумею ли я на Западе писать? Известно мнение, что вне родины многие теряют способность писать. Не случится ли это со мной? (Некоторые западные голоса так уже и предсказывали, что меня ждёт на Западе духовная смерть.)

И ещё: сохранится ли благополучен арьергард – оставшиеся в СССР наши друзья и «невидимки»? Если б сейчас поехать в Америку – осиротить наши тылы в СССР: уже нет постоянного адреса, телефона, «левой» почты, да сюда в Цюрих может кто и связной приедет, с известием, вот Стиг. (Он и приезжал вскоре.)

В Союзе я держался до последнего момента так, как требовала борьба. На Западе я не ослабел – но не мог заставить себя подчиняться политическому разуму. Если я оказался действительно в свободном мире, то я и хотел быть свободным: ото всех домоганий прессы, и ото всех приглашителей, и ото всех общественных шагов. Все мои отказы были – литературная самозащита, та же самая – интуитивная, неосмысленная, прагматически рассматривая – конечно ошибочная, та самая, которая после «Ивана Денисовича» не пустила меня поехать в президиум Союза писателей получать московскую квартиру. Самозащита: только б не дать себя закружить, а продолжать бы в тишине работать, не дать загаснуть огню писания. Не дать себя раздёргать, но остаться собою. А международная моя слава казалась мне немереной – но теперь не очень-то и нужной.

И я выстукивал очередной отказ[[см. здесь](#)].

В одурашенном состоянии я лунатично бродил по пустому полудому и пытался сообразить, что мне первой и неотложней всего делать. Да не важнее ли было ещё один долг выполнить? – перед моей высылкой мы с Шафаревичем надумали выступить с совместным заявлением в защиту генерала Григоренко¹⁷. Но так и не успели. А составить был должен я, и появиться теперь оно должно в Москве, раз две подписи. В неустроенной комнате я и писал это первое своё на Западе произведение¹⁸. По «левой» почте послал его в Москву Шафаревичу. Там оно и появилось.

На каждом шагу возникали и хозяйственные задачи, но не мог же я и совсем отказаться от разборки почты, просто ходить по этим пластам.

А – чего только не писали! Какой-то старый эмигрант Криворотов прислал мне «Открытое письмо», большую статью (она была потом напечатана¹⁹), обличая, что все мои писания – ложь, я только обманываю русский народ, ибо не открываю, что все беды в России от евреев, и ничего этого не показал в «Августе», ни в первом, вышедшем, томе «Архипелага». Пока не поздно – чтоб я исправился, иначе буду беспощадно разоблачён. (Позже были возмущения в эмигрантской прессе, как я «посмел не ответить» Криворотову.) И в других письмах были нарёки, что я – любимец мирового сионизма и продался ему. А ещё живой Борис Солоневич (брат Ивана) рассылал по эмигрантам памфлет против меня, что я – явный агент КГБ и нарочно выпущен за границу для разложения эмиграции.

А Митя Панин из Парижа слал мне строжайшие наставления, что пора мне включаться в настоящую антикоммунистическую борьбу. Вот сейчас в Лозанне съедется группа непримиримых антикоммунистов из нескольких смежных стран, и Панин там будет, – и чтоб я там был

телевидения (31 октября 1983) // Публицистика Т. 3. С. 173).

¹⁷ Генерала Петра Григорьевича Григоренко, ставшего одним из лидеров правозащитников, дважды арестовывали и помещали на принудительное лечение в психиатрические больницы (1964–1965; 1969–1974). С момента второго ареста развернулась широкая кампания в его защиту, не приводившая к успеху более пяти лет.

¹⁸ Письмо (совместно с И. Р. Шафаревичем) «Не сталинские времена», март 1974 года. (Публицистика. Т. 2. С. 73–74; в выдержках: New York Times. 1974. 9 Apr. P. 4). «Да, – пишут авторы, – у нас – не сталинские времена. Сталин был слишком груб, слишком мясник: он не понимал, что для страха и покорности совсем не нужно так много крови, так много ужасов. А нужна всего только методичность. <...> Вот взяли – и не выпустим! Схватили – и до конца додушим, хоть от протестов разорвись весь мир!.. И обеспечена покорность миллионов».

¹⁹ Криворотов В. И. Некоторые мысли к русской возрожденческой идее: Статьи и письма. Мадрид, [б. и.], 1975.

и подписался под их манифестом. (Боже, вот образец, как от долгого одиночества мысли – срываются люди по касательной.)

Тут, почти одновременно, проявились ко мне – Зарубежная Церковь и Московская Патриархия. От первой, вместе со священником соседнего с нами подвального храма о. Александром Каргоном (замечательный старик, мы потом у него и молились), приехали архиепископ Антоний Женевский (как я позже оценил, прямой, принципиальный, достойный иерарх) и весьма тёмный архимандрит монастыря в Иерусалиме Граббе-младший, тоже Антоний, – очень он мне не понравился, неприятен, и сильно политизирован. (Через несколько лет обвинён в злоупотреблениях.) А общий разговор: ждут же от меня реальной помощи, примыкания и содействия Зарубежной Церкви (о какой другой – и речи нет).

В тех же днях приходит ко мне священник от Московской Патриархии (сын покойного писателя Родионова), он тоже рядом живёт, – и просит, чтоб я согласился на встречу у него дома с митрополитом Антонием Сурожским из Лондона (известным ярким проповедником, которого, по Би-би-си, знает вся страна). Соглашаюсь. И через несколько дней эта тайная встреча составляется. Митрополит не слишком здоров. Немного постарше меня. Врач по профессии, он избрал монашество, сперва – тайным путём, в лоне Московской Патриархии. Теперь в ней же служит, и ещё ему долго служить. Спрашивает совета об общей линии поведения. Сдержанный, углублённый, взгляд с посьверком. Но что я могу ему посоветовать? только жестокое решение: громко и открыто оповещать мир, как подавляют Церковь в СССР. Он отшатывается: это же – разрыв с Патриархией и уже невозможность влиять с нынешней кафедры. (А ведь он – экзарх Патриарха Московского в Западной Европе.) А мне, ещё в размахе противоборства, не видно: как же иначе сильнее послужить русскому православию?

Нет, в состоянии взбаламученности, перепутанности, многонерешённости – всё никак не пробьёшься к ясному сознанию. Что-то я делаю не то, а чего-то самого срочного не делаю. Но не могу уловить.

А в храм к отцу Александру²⁰ я пошёл раз, пошёл два – был прямо схвачен за душу. Обыкновенный жилой дом. Спускаешься в подвал – все оконца только с одной стороны, близ потолка, и выходят прямо к колёсам грохочущего транспорта. А здесь, в подвале на сто человек, – пришло и молится человек десять, щемящий островок разорванной в клочья России, и почтенный священник, под 80 лет, в череде молений грудно придыхает и со страданием, едва не стоном произносит: «О еже избавити люди Твоя от горького мучительства безбожных власти!» Мало помню в России церквей, где бы так проникновенно молилось, как в этом подвале как бы катакомбной церкви, тем удивительней, что снаружи, сверху, грохотал чужой самоуверенный город. Да никогда за всю жизнь я такого не слышал, в СССР это же не могло бы прозвучать.

Раз в несколько дней звоню Але в Москву. Связь каждый раз дают, не мешают. Но много ли поговоришь? Вот обо всём, написанном выше, ведь почти ничего и нельзя. И Алея – занятая спасением архива, архива! – ведь ничего же не может мне о том процедить. Только, голос измученный: «Не торопи меня с приездом. Очень много хозяйственных хлопот». (Понимаю: *других*, посерьёзней. А ещё не осознал, что, ко всему, изматывают её полной ОВИРовской процедурой²¹ для семьи – все бумажки, справки, печати, как если б они просились в добровольную эмиграцию, – хоть этим досадить.) Тут ещё у младшего сына Стёпушки воспаление лёгких, надо переждать его болезнь.

²⁰ ...в храм к отцу Александру... – храм Покрова Пресвятой Богородицы в Цюрихе (Haldenbachstrasse, 2). Основан в 1933 году усилиями группы русских женщин, вышедших замуж за швейцарцев. Принадлежит Русской православной церкви за границей. В 1974–1976 годах Солженицыны были прихожанами этого храма.

²¹ ...ОВИРовской процедурой... – ОВИР (Отдел виз и регистраций) – подразделение Министерства внутренних дел СССР, ведавшее, в частности, регистрацией иностранцев, прибывающих в СССР, и оформлением выездных документов для советских граждан. Существовало в СССР с 1935 года и в постсоветской России с 1991-го по 2005 год.

Я – устраиваюсь в доме понемножку. Поехал с Голубами в крупный мебельный магазин, купил к приезду семьи сколько-то мебели, в том числе основательной норвежской, светло-древесной, хоть так внести Норвегию.

Супруги Голубы «и сколько угодно ещё чехов» готовы мне во всём помогать, они во всём мои радетели, объяснители и проводники по городу. (Хотя муж – неприятный, видно, что злой.) Нужен зубной врач, говорящий по-русски? Есть у них, повезли. А уж терапевт – так и первоклассный. – Юноша-чех переставляет мой телефон из комнаты в комнату, без нагляду. – Вот кто-то хочет мне подарить горный домик у Фирвальдштетского озера – везут меня туда чехи, пустая поездка. (Место на горе – изумительное, а мотив подарка выясняется не сразу: если б я взял этот домик – даритель надеялся, что власть кантона проведёт ко мне наверх автомобильную дорогу, и как раз мимо другого дома самих дарителей.) – Да не откажитесь встретиться с нашими чехами, сколько в нашу квартиру вместится! Я согласился охотно. Устроили такую встречу на квартире у Голубов. Набралось чешских новоэмигрантов человек сорок, видно, как много достойных людей, – и какая тёплая обстановка взаимного полного понимания (с европейцами западными до такого добираться – семь вёрст до небес, и всё лесом). И какая это радость: собраться единомышленникам и разговаривать безвозбранно свободно. – Да не откажитесь посетить нашу чешскую картинную галерею! Поехал. Хорошая художница, трогательные посетители. – Да дайте же нам право переводить «Архипелаг» на чешский, мы будем забрасывать к нашим в Прагу! Дал. (Наперевели – и плохо, неумеючи, и растянули года на два, и перебили другому, культурному, чешскому эмигрантскому издательству.) Так же просили и «Прусские ночи»²² переводить – некоему поэту Ржезачу. Но не повидал я того Ржезача, как он настойчиво ни добивался.

Даже тысячесторожные, стооглядчивые, прошнурованные лагерным опытом – все мы где-нибудь да уязвимы. Ещё возбуждённому высылкой, сбито, взмученному, не охватывая навалившегося мира – как не прошибиться? Да будь это русские – я бы с оглядкой, порасспросил: а какой эмиграции? да при каких обстоятельствах? да откуда? – но чехи! но обманутые нами, но в землю нами втоптанные братья! Чувство постоянной вины перед ними затмило осторожность. (Спустя два месяца, с весны, я стал жить в Штерненберге, в горах у Видмеров, чувствовал себя там в безвестности, в безопасности ночного одиночества, – а Голубы туда дорожку отлично знали. Позже стали к нам приходить предупреждения прямо из Чехословакии: что Голубы – агенты, он был прежде заметный чешский дипломат, она – чуть не 20 лет работала в чешской госбезопасности. Стали и мы замечать странности, повышенное любопытство, необъяснимую, избыточную осведомлённость. Наконец и терпеливая швейцарская полиция прямо нас предупредила не доверять им. Но до этого ещё долго было – а пока, особенно до приезда моей семьи, супруги Голубы были первые мои помощники.)

Хотя знал же я, что в чужой обстановке всякий новичок совершает одни ошибки, – но и не мог, попав на издательскую свободу, никак её не осуществлять – так напирала мука невысказанности! С ненужной торопливостью я стал двигать один проект за другим. Издал пластинку «Прусские ночи» (через Голуба, конечно). Тут же начал переговоры (через Голуба, снова) о съёмке фильма «Знают истину танки», привезли ко мне чешского эмигрантского режиссёра Войтека Ясного, много времени мы с ним потратили, и совсем зря. А ведь у меня сценарий был²³ – из главных намеченных ударов, я торопил его ещё из Москвы. А вот оказался здесь и сам – а запустить в дело не могу.

²² «Прусские ночи» – глава 9 стихотворной повести «Дороженька», сочинённой автором в лагере, устно, без возможности записывать (1950–1952), и вывезенной из заключения в памяти. Впервые опубликована в 1999-м, спустя 47 лет. Последняя публикация: Собр. соч. Т. 18: Раннее.

²³ ...у меня сценарий был... – Знают истину танки // Собр. соч. Т. 19: Пьесы и сценарии. Сценарий написан в 1959 году, впервые опубликован спустя 30 лет (Дружба народов. 1989. № 11. С. 70–132). Текст печатается с авторским предведомствием: «Я мало верил, что этот фильм когда-нибудь увидит экран, и поэтому писал сценарий так, чтобы будущие читатели могли

Но ещё же – самое главное: «Письмо вождям Советского Союза»²⁴. Ведь оно так и застряло в парижском печатании в январе, последние поправки остались при аресте на моём письменном столе в Козицком переулке (но Аля уже сумела вот дослать их Никите Струве), – так надо ж скорей и «Письмом» громыхнуть! Я всё ещё не сознавал отчётливо, как «Письмо» моё будет на Западе ложно истолковано, не понято, вызовет оттолкновение от меня. Я только внутренне знал, что сделанный мною шаг правилен, необходимо это сказать и не дать вождям уклониться *знать* о таком пути.

Высший смысл моего «Письма» был – избежать уничтожающего революционного исхода («массовые кровавые революции всегда губительны для народов, среди которых они происходят», – писал я). Искать какое-то компромиссное решение с верхами, ибо дело не в лицах, а в системе, – устранить её. Так и написал им: «Смена нынешнего руководства (всей пирамиды) на других персон могла бы вызвать лишь новую уничтожающую борьбу и наверняка очень сомнительный выигрыш в качестве руководства». (Ибо, думал: почему надо ждать, что при внезапной замене *этих* – придут ангелы, или хотя бы честные, работающие или хотя бы с заботой о маленьких людях? да после 50-летней порчи и выжигания нашего народа всплывёт наверх мразь, наглецы и уголовники.)

Конечно, не было никакой сильной позиции для такого разговора, и в моём письме была прореха аргументации: на самом деле коммунистическая идеология оправдала себя как великолепное оружие для завоевания мира, и призыв к вождям отказаться от идеологии не был реальным расчётом, но всплеском отчаяния. Я только напоминал им, насколько же *сплошь* ошибся марксизм в своих предсказаниях: экономическая теория примитивна, не оценивает в производстве веса интеллекта, ни организации; и «пролетариат» на Западе не только не нищает, а нам бы свой так накормить и одеть; и европейские страны совсем не на колониях держались, а без них ещё лучше расцвели; а социалисты получают власть и без вооружённого восстания, как раз развитие промышленности и не ведёт к переворотам, это удел отсталых; и социалистические государства нисколько не отмирают; да и войны ведут не менее ретиво, чем капиталистические. А китайскую угрозу я вздувал сильнее, чем она на самом деле уже тогда возросла, – но страх этот в стране жил, а о будущем – не загадывай тем более.

Я не мог построить «Письма» сильнее, потому что силы этой не было за нами в жизни. Но я искал каждый поворот довода, чтобы протронуть, пробрать дремучее сознание наших неблагословенных вождей. «Лишь бы отказалась ваша партия от невыполнимых и ненужных нам задач мирового господства»; «достало бы нам наших сил, ума и сердца на устройство нашего собственного дома, где уж нам заниматься всею планетой»; «потребности *внутреннего* развития несравненно важней для нас как для народа, чем потребности *внешнего* расширения силы», «внешнего расширения, от которого надо отказаться». (Ох, да способны ли они до этого доразуметь?) «Вся мировая история показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб». (А – что им до духовного ущерба?) «Цели великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы. И мы не смеем изобретать интернациональных задач и платить по ним, пока наш народ в таком нравственном разорении и пока мы считаем себя его сыновьями». (Да нешто они – «сыновья»? они – «Отцы»...)

И в развитие этого, в отчаянной попытке пронять их безчувственную толстокожесть: да хватит с нас заботы – как спасти наш народ, излечить свои раны. «Неужели вы так не уверены в себе? У вас остаётся вся неколебимая власть, отдельная сильная, замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля, – но дайте же народу дышать, думать и развиваться! Если вы сердцем

стать зрителями и без экрана...» Фильм так и не был снят до сего дня. О попытках экранизации в Америке см. в наст. изд., гл. 6 (Русская боль); о намерении Анджея Вайды – гл. 15 (Непринятые мысли).

²⁴ Письмо вождям Советского Союза (5 сентября 1973) // Публицистика. Т. 1. С. 148–186.

принадлежите к нему – для вас и колебания не должно быть!» Но нет, – *сердцем* они уже не принадлежали... Просто мне страстно хотелось убедить – даже не нынешних вождей, но тех, кто придёт им на смену завтра.

И призыв мой к Северо-Востоку был – лишь как бы душевным остоянием перед невзгодами и разрывами, которые неизбежно ждут нас, как мне виделось. Мы ещё «обильно богаты неосвоенной землёй»; а «*высшее богатство* народов сейчас составляет *земля*» – простор для расселения, биосфера, почва, недра, – а мы-то довели свою деревню до полного упадка. Не то чтоб я *хотел* свести страну до РСФСР и компенсировать нас на неосвоенных пространствах севера Европейской России и Сибири, – но я предвидел, что многие республики, если не все, будут отваливаться от нас неизбежно, – и не держать же их силой! «Не может быть и речи о насильственном удержании в пределах нашей страны какой-либо окраинной нации». Нужна программа, чтоб этот процесс прошёл безболезненно, хуже будет, если доведём до потери Северного Кавказа или южнорусских причерноморских областей.

И о многом, о многом ещё написал, ведь такое пишется раз в жизни. Об упадке школы, семьи, о непосильном женском физическом труде; о бессмыслице для *них же самих* преследовать религию: «с помощью бездельников травить своих самых добросовестных работников, чуждых обману и воровству, – и страдать потом от всеобщего обмана и воровства»; да для верующих уж не прошу льгот, «а только: честно – не подавлять». И вообще: «допустите к честному соревнованию – не за власть! за истину! – все идеологические и все нравственные течения». И о том написал, что более всего невыносима «навязываемая повседневная идеологическая ложь», и пусть их брехуны-пропагандисты, если они воистину идейные, пусть агитируют за марксизм-ленинизм в нерабочее время, и не на казённой зарплате. И о том, что «нынешняя централизация всех видов духовной жизни – уродство, духовное убийство». Без 60–80 городов – «самостоятельных культурных центров... – нет России как страны, лишь какой-то безгласный придаток» к столицам.

По логике моей жизни в Союзе – это «Письмо» было неизбежно, и вот годы проходят – я ни на миг с тех пор не пожалел, что послал его правительству; даже в дни провала «Архипелага». Для спасения страны – переходный авторитарный период, это верно. У меня же дымилось перед глазами крушение России в 1917, безумная попытка перевести её к демократии одним прыжком; и наступил мгновенный хаос. «А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла ещё только снизиться». Ясно, что выручить нас может только плавный, по выражам, спуск к демократии с ледяной скалы тирании через авторитарный строй. «Невыносима не сама авторитарность... невыносимы произвол и беззаконие»; «авторитарный строй совсем не означает, что законы не нужны или что они бумажны, что они не должны отражать понятия и волю населения». Как этого всего не понять? С каким безумием наши радикалы предлагали прыгнуть с кручи в долину? Их жажда «мгновенной» демократии была порыв кабинетных, столичных людей, не знающих свойств народной жизни.

А другого момента для «Письма», оказывается, и быть не могло, чуть позже – и навсегда бы упущено: выслан. И даже если б я в тот момент осознавал (но не осознавал), как это аукнется на Западе, – я всё равно послал бы «Письмо». Моё поведение определялось судьбой России, ничем другим. Надо думать, как воз невылазный вытаскивать.

Однако осенние месяцы 1973 шли. «Письмо», конечно, в ЦК заглохло. (Да и станут ли его читать?) Готовился ко взрыву «Архипелага». Очень предполагая в том взрыве погибнуть, хотел я опубликовать и свою последнюю эту программу вместе с ещё последней – «Жить не по лжи»²⁵. Я видел только соотношение нашего народа и нашего правительства, а Запад был – лишь отдалённым местом моих печатаний, Запада я не ощущал кончиками нервов. Я никак не

²⁵ Жить не по лжи! (12 февраля 1974) // Публицистика. Т. 1. С. 187–192.

ощущал, что поворот от меня ведущей западной общественности даже уже начался два года назад: от Письма Патриарху²⁶ – за пристальное внимание к православию, от «Августа» – за моё осуждение революционеров и либералов, за моё одобрение военной службы (в Штатах это пришлось на вьетнамское время!); не говоря уже, что и художественно их раздражало то, что я отношусь к изображаемому с сильным соучастием. На Западе же теперь литературное произведение оценивают тем выше, чем автор отрешённее, холодней, больше отходит от действительности, преобразая её в игру и туманные построения. И вот, сперва нарушив законы принятой художественной благообразности, я теперь «Письмом вождям» нарушал и пристойность политическую. Под влиянием критики А. А. Угримова («Невидимки»²⁷) я впервые увидел «Письмо» глазами Запада и ещё до высылки подправил в выражениях, особенно для Запада разительных: ведь это было не личное письмо, а без ответа оставшаяся программа имела право усовершенствоваться. Но исправленья мои были мелкие, всё главное осталось и не могло измениться. И теперь на Западе я, так же не вдумавшись, не понимая, какой шаг делаю, – гнал, торопил издание на русском, английском, французском. 3 марта «Письмо» впервые появилось в «Санди таймс» (без потерянного в «Имке», я не знал о том, важного авторского вступления к «Письму», без чего оно не полностью понятно, исказилось)²⁸.

А для Запада теперь это выглядело так: от лютого советского правительства они защищали меня как демократического и социалистического героя (мне же приписали взгляды Шулубина о «нравственном социализме», – потому что очень хотелось так понимать²⁹). Спасли меня – а я, оказывается, несколько не социалист, и предлагаю авторитарность, и тому драконскому правительству какие-то переговоры, и даже уже с давностью полгода. Так я – не единомыслящий Западу, а то и противник? Кого ж они спасали?

И после близких недавних восторгов – полилась на меня уже и брань западной прессы, крутой же поворот за три недели! Да если бы хоть прочли внимательно! – из отзывов и брани сразу выскакивалось, что эти газетчики и *не удосужились прочесть подряд*. Тут впервые поразила меня, а потом проявилась постоянным свойством – недобросовестность. Не резче ли всех хлестала «Нью-Йорк таймс», отказавшаяся моё «Письмо» печатать? Но, прослышав от Майкла Скэммела, что внесены какие-то *поправки*, добыла у простодушного Струве именно список поправок и напечатала не само письмо, а только поправки, раздувая скандал. Газета теперь обзывала меня реакционером, шовинистом, – тут и я онедоумел, и можно онедоуметь: в чём же шовинист? Предлагаю Советам прекратить всякую агрессию, убрать отовсюду свои оккупационные войска – кому ж это плохо? пишу же: «цели империи и нравственное здоровье народа несовместимы», – нет, шовинист!³⁰

²⁶ Всероссийскому Патриарху Пимену великопостное письмо (Крестопоклонная неделя, 1972) // Публицистика. Т. 1. С. 133–137.

²⁷ Об Александре Александровиче Угримове и его многолетней помощи автору см.: Бодался телёнок с дубом (Невидимки. 9) // Собр. соч. Т. 28. С. 524–535.

²⁸ Solzhenitsyn A. Letter to the Soviet leaders // Sunday Times. 1974. 3 March. P. 33–36. Авторское вступление к «Письму», потерянное в «Имке», см.: Публицистика. Т. 1. С. 148–149.

²⁹ ...мне же приписали взгляды Шулубина... – Шулубин Алексей Филиппович – один из героев повести «Раковый корпус», рассуждающий о «нравственном социализме», см.: Собр. соч. Т. 3: Раковый корпус. С. 360–372 (гл. 31: Идолы рынка). Солженицын не раз отрицал, что дал Шулубину выразить свои собственные взгляды, см., например, его ответ на пресс-конференции в декабре 1974-го: «Шулубин, который всю жизнь отступал, и гнул спину, и сотрудничал с режимом, выражает как последнюю надежду, что, может быть, существует нравственный социализм. И это место [западная] критика отметила как: вот, Солженицын выражает социалистическое мировоззрение. Но Шулубин совершенно противоположен автору и не выражает ни с какой стороны автора... Интересно, что советская критика, Союза советских писателей, это место с другой стороны критиковала: как я смел придумать какой-то «нравственный социализм», которого быть на земле – не может!» (Пресс-конференция в Стокгольме (12 декабря 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 196, 197). См. также: Бодался телёнок с дубом (гл. «Встречный бой») // Собр. соч. Т. 28. С. 343.

³⁰ Вот, в 1984 Лех Валенса в «Ридерс Дайджест» напечатал: если польскому [коммунистическому] правительству предложить разумную программу – то оно примет требования народа. А что такое «Письмо вождям»? Но – полякам так можно, а русским – нельзя. – *Примеч.* 1986.

Да больше всего их ранило, что я оказался не страстный поклонник Запада, «не демократ»! А я-то демократ – попоследовательней и нью-йоркской интеллектуальной элиты, и наших диссидентов: под *демократией* я понимаю реальное народное самоуправление снизу доверху, а они – правление образованного класса.

Замешательство и враждебное отношение к «Письму», возникшее в Соединённых Штатах, отразилось во втором письме сенатора Хелмса, приоткрывавшего и свою внутреннюю подавленную американскую (южную) боль [[см. здесь](#)]. Отвечая ему, я разъяснил свою позицию шире [[см. здесь](#)].

И тотчас, в поддержку этому возникшему в Штатах враждебному мне кручению, – громко и поспешно добавил свой голос Сахаров.

Чего я никак-никак не ожидал – это внезапного враждебного отголоска от Сахарова. И потому, что мы с ним никогда ещё публично не спорили. И потому, что за несколько дней перед тем он приходил в Москве к моей отъезжающей семье (долгий вечер сидели с друзьями на кухне, и песни пели, Андрей Дмитриевич подпевал), – и ни звуком же, ни бровью не предупредил меня через жену, что на днях будет отвечать. Конечно, не обязан, – но я-то свою критику его взглядов («На возврате дыхания и сознания», 1969) передал ему из рук в руки, тихо, и пятый год не печатаю, никому не показываю³¹. И в той критике своей, после детального чтения, я бережно подхватывал, отмечал и поддерживал каждый убедительный довод Сахарова, каждое его доброе движение. И что ж он сейчас не мог передать свой ответ и мне, с Алей? Если опасался послать письменный текст – то хоть что-то устное? и хотя бы с каким-то дружественным словом?

Нет, на второй день как семья моя выехала, он – вчуже громыхнул на весь мир ответом, – да с какой поспешностью! как ещё не передавались самиздатские статьи: они обычно плыли ручной передачей, а тут – по телефону из Москвы в Нью-Йорк, к соратнику Чалидзе, 20 страниц по телефону! – какая же острая спешка, почти истерика, на Андрея Дмитриевича слишком не похоже, знать, так горячо его склоняли, торопили – поспешить ударить! Только сторонним влиянием и могу объяснить. И гебисты злорадно не прерывали этой долгой телефонной диктовки, как прерывают часто и мелочь.

Но – ещё обиднее: так спешил Сахаров, что даже «Письма» моего, видно, не прочёл хорошо? или только по радио слышал, и вот – по слуховой памяти? – приписал «Письму», чего там вовсе не было. Например, такое: «стремление отгородить нашу страну... от торговли, от того, что называется обменом людьми и идеями», «замедление научных исследований, международных научных связей», замедление же и «новых систем земледелия», «отдать освобождённые ресурсы государства» энтузиастам национально-религиозной идеи и «создать им возможность высоких личных доходов от хозяйственной деятельности». Наконец, «мечта Солженицына о возможности обойтись... почти что ручным трудом». Да побойтесь Бога, Андрей Дмитриевич, да ведь ничего этого в моём «Письме» нет, откуда вы взяли? Научная некорректность – это ж не ваша черта!

Я – не ожидал.

Но, если вдуматься, ожидать надо было. Общественное движение в СССР по мере всё более энергичного своего проявления не могло долго сумятиться без проступа ясных линий. Неизбежно было выделиться основным направлениям и произойти расслоению. И направления эти, можно было и предвидеть, возникнут примерно те же, какие погибли при крахе старой России, по крайней мере главные секторы: социалистический, либеральный и национальный. Социалистический (братья Медведевы, спаянные с группой старых большевиков и с какими-то

³¹ Написанная в 1969 году, статья появилась лишь в ноябре 1974-го в составе сборника единомышленников «Из-под глыб», увидевшего свет в Москве в самиздате и в том же 1974-м опубликованного в Париже издательством «ИМКА-Пресс» (На возврате дыхания и сознания: По поводу трактата А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (Октябрь 1973) // Публицистика. Т. 1. С. 26–48).

влиятельными лицами *наверху*) представлял наиболее организованное направление, очевидно, уже давно тяготился своим смещением и мнимой общностью с остальным *Демдвижем* (хотя и тот не порицал советского режима) – и первый поспешил с разрывом и нападательным действием: в ноябре 1973, едва только стихла громоздкая барабанная правительственная атака на Сахарова, – Рой Медведев напал на Сахарова как бы в спину³². Это многих тогда поразило. А вот теперь, едва кончилась правительственная расправа со мной, – Сахаров, определившийся вождь либерального направления, атаковал в спину меня.

А мировой резонанс в тот момент был обеспечен. Сама атака шла в неравных условиях, да, но парадоксальным образом: я не мог из-за границы – туда, где Сахаров оставался во власти врагов, – отвечать полновесно и остро. Именно моя свобода при его несвободе связывала мне руки.

Но откуда такая тревожная поспешность этого отклика, его напряжённость? Кажется, я не предлагал «вождям» ничего немедленного. Я усовещивал их – впредь на большое время; а немедленно, вот сейчас – всех разгоняло, давило, секло коммунистическое правительство. Однако, покидая неотложные опасности и заботы, Сахаров сел за некраткий ответ мне.

Сама статья Сахарова³³ в большей своей части (но не до конца) выдержана в характерном для него спокойном теоретическом тоне. Во взглядах она почти неизменно повторяет его «Размышления о прогрессе»³⁴, хотя тому минуло уже 6 лет. Сахаров так и писал: прежние общественные выступления «в основном по-прежнему представляются мне правильными». Снова тот же «рационалистический подход к общественным и природным явлениям», и так же ему «само разделение идей на западные и русские непонятно». (А ведь это – не физика, не геометрия, это – гуманитарность, и как же, не чуя этого разделения, нам высказываться по общественным проблемам? В гуманитарной-то области идеи во многом определяются *именно* средой своего рождения, традицией и менталитетом *именно* этого народа.) И тот же, во всей статье, планетарный образ мышления, не умелъчанный до рассматривания национальной жизни: «нет ни одной важной ключевой проблемы, которая имеет решение в национальном масштабе», всё решит «научное и демократическое общемировое регулирование» (и перечисляет глобальные проблемы цивилизации, совсем опуская дух, культуру и собственно человеческую многомерную жизнь).

Отличие от «Размышлений» на этот раз Сахаров определённо и категорично осуждает марксизм. Однако: «Солженицын излишне переоценивает роль идеологии». По мнению Сахарова, «современное руководство страны» не идеологией ведётся, а «сохранением своей власти и основных черт строя» (какого же строя, если не марксо-ленинского? и каким же инструментом, если не Идеологией? и если б не Идеология, с чего б они так испугались, придушили свою же, косыгинскую, неглупую экономическую реформу 1965 года?). Но странно: хотя моё «Письмо» было направлено именно к *вождям*, с призывом именно *вождям* отказаться от Идеологии, – у меня и намёка нет, чтоб за эту идеологию держалось советское *общество* или народные массы, – Сахаров с непонятной рассеянностью не замечает этого, и *трижды* в своей статье, с усилием, в открытую дверь, спорит: «если говорить именно о современном состоянии *общества* (курсив мой. – А. С.), то для него характерна идеологическая индифферентность»,

³² ...Рой Медведев напал на Сахарова как бы в спину. – В начале ноября 1971 года Рой Медведев опубликовал в самиздате статью «Проблема демократизации и проблема разрядки», в которой высказывал мнение, что выступления диссидентов, в частности Сахарова, направленные на защиту прав человека в СССР, препятствуют эффективной разрядке и в конечном счёте замедляют процесс положительных изменений в СССР. Статья получила широкое освещение на Западе, в том числе в ведущих газетах (см., например, статью Хедрика Смита, московского корреспондента «Нью-Йорк таймс»: *Smith H. Soviet Dissident Backs Better U.S. Ties* // *New York Times*. 1973. 8 Nov. P. 2).

³³ Сахаров А. Д. О письме Александра Солженицына «Вождям Советского Союза». Нью-Йорк: Хроника, 1974; см. также: Знамя. 1990. № 2. С. 14–21; *Sakharov A. D. In answer to Solzhenitsyn* // *New York Review of Books*. 1974. 13 June.

³⁴ Сахаров А. Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе // Сахаров А. Д. Тревога и надежда: [сб.] / сост. Е. Г. Боннэр. М.: Интер-Версо, 1990. С. 11–47.

«не надо переоценивать роль идеологического фактора в сегодняшней жизни советского общества», «Солженицын, как я считаю, переоценивает роль идеологического фактора в современном советском обществе». Странное оспаривание *мимо* предмета спора (тоже от торопливости прочтения?) – а ведь здесь *ось* сахаровского ответа. И проскальзывает всё же старая оговорка: «казарменный социализм» – будто кто-либо, когда-либо видел другой, будто Маркс вёл к какому-то «нестеснённому» социализму? И ещё характерна фраза: «...роль марксизма как якобы “западного” и антирелигиозного учения». Якобы антирелигиозного? якобы умершего? Ах, Андрей Дмитриевич, да живуча эта Идеология – и ещё как! ещё сколько будут держаться за неё – именно за казарменное «равенство», казарменную «справедливость», чтобы только не взгрузить на себя бремя свободы.

И уже не первый, не первый раз касается Сахаров *русской* темы в форме заёмно-распространённой: «в России веками рабский, холопский дух, сочетающийся с презрением к иноземцам, инородцам и иноверцам». (Как бы при таком презрении держалось бы 100-национальное государство?) Никак, А. Д., нельзя не сверяться с историками – С. Соловьёвым, С. Платоновым. И тогда узнаем, что на всём протяжении от Ивана IV до Алексея и Фёдора Россия тянулась получать с Запада знания и мастеров с их умением (и почётно содержала приехавших) – а отсекали им путь Ганза, Ливония, Польша да и прямое вмешательство Римского Престола: опасались все они усиления России. А с чего бы Петру понадобилось в Европу «прорубать окно»? Оно было *снаружи* заколочено.

Выражает Сахаров и мнение, что «призыв к патриотизму – это уж совсем из арсенала официозной пропаганды». И вообще, спрашивает он: «где эта здоровая русская линия развития?» – да не было б её, как бы мы 1000 лет прожили? уже и ничего здорового не видит Сахаров в своём отечестве? И особенно изумился, что я выделил подкоммунистические страдания и жертвы русского и украинского народов, – не видит он таких превосходящих жертв.

Дождалась Россия своего чуда – Сахарова, и этому чуду ничто так не претило, как пробуждение русского самосознания! Однако если подумать, то и этого надо было ожидать, подсказывалось и это предшествующей русской историей: в национально-нравственном развитии России русский либерализм всегда видел для себя (и вполне ошибочно) самую мрачную опасность. А с социалистическим крылом (да даже и с отпочковавшимися коммунистами) они были всё-таки родственники, через отцов Просвещения.

И опять у Сахарова всё та же наивная вера, что именно свобода эмиграции приведёт к демократизации страны; и только демократия может выработать «народный характер, способный к разумному существованию» (о да, несомненно! но если понимать демократию как устойчивое, действующее народное самоуправление, а не как цветные флаги с избирательными лозунгами и потом самодовольную говорильню отделившихся в парламент и хорошо оплачиваемых людей); демократический путь (разумеется, просто по западному образцу) – «единственный благоприятный для любой страны» (вот это и есть схема). И безстрастно диктует Сахаров нашему отечеству программу «демократических сдвигов под экономическим и политическим давлением извне». (Давление извне! – американских финансистов? – на кого надежда!) А по центральному моему предложению в «Письме» – *медленному, постепенному* переходу к демократии через авторитарность, Сахаров опять возражает *мимо* меня: «...я не вижу, почему в нашей стране это [установление демократии] не возможно в принципе», – так и я же не спорю с *принципом*, только говорю, как опасно делать это рывком.

Конечно, тон выступления Сахарова был неоскорбителен. Но к концу статьи он резко сменил его. И он был первым, кто назвал мои предложения «потенциально опасными», «ошибки Солженицына могут стать опасными». А если не прямо они, то «параллели с предложениями Солженицына... должны настораживать». И если ещё не я сам прямо опасен, то неизбежно опасными проявятся какие-то мои последователи – и к этой-то неотложной *опасности* было так торопливо его письмо. Перекрывая мягкость лично ко мне, не упустил он вста-

вить набатную фразу, и сильно не свою: «Идеологи всегда были мягче идущих за ними практических политиков». Запасливая фраза, практически политическая, да почти ведь в точности взята со страниц Маркса-Энгельса.

И эти-то сахаровские предупреждения, при начале капитулянтского детанта, пришлось Западу очень ко времени и очень были им подхвачены. По сути, только вот эти предостережения западная пресса вознесла и повторяла из статьи в статью, само «Письмо» почти не обсуждая. «Захватывающий дух диалог двух русских!» – пророчила она, несомненно ожидая, что дискуссия потечёт и дальше.

И мне – очень хотелось ответить немедленно, конечно. Как и Сахарова, меня тоже смутило многое у него. Но скромный, малый, щадящий ответ – лишь смягчить самые выпирающие ошибки оппонента – был бы не в рост поднятым проблемам. Вопросы – все очень принципиальные, а мы с единомышленниками уже год как готовили в СССР широкий по охвату самиздатский сборник статей «Из-под глыб», да высылка моя сорвала общую работу, теперь сборник откладывался с месяца на месяц, как-то надо было кончать его сношениями через железнозаванесную границу, нелегко. Так обгонять ли «Из-под глыб» – с его взвешенными глубокими формулировками – поспешной газетной полемикой, которая всегда обречена быть поверхностной? Скрепя сердце пришлось от немедленного публичного ответа Сахарову отказаться. (И напрасно.)

И когда 3 мая журнал «Тайм» брал у меня интервью и прямо вызывал на ответ Сахарову – я ответил глухо, уклончиво³⁵. И тоже зря: в западном сознании осталось, что Сахаров меня победно подшиб, как говорится, «один – ноль». Спустя полгода, в конце 1974, уже после «Из-под глыб», мой мягкий ответ Сахарову в «Континенте»³⁶ – вовсе не был замечен: эмигрантский русский журнал не тянет против американской ведущей газеты, да уже многих западных газет. (Ещё годами спустя меня спрашивали, отчего же я никогда не ответил на сахаровскую критику?)

Да хоть бы я ответил и в «Нью-Йорк таймс»? – тогда искрились надежды разрядки: с коммунизмом *можно* договориться, и надо, да он вовсе уже и не коммунизм! – как раз по Сахарову. Из статьи его получалось, что мой счёт коммунизму – необоснован, опоздан, я – не объективный свидетель того, что делается в СССР. Ядро моего «Письма» и моё сомнение в абсолютном и безусловном благе Прогресса он изобразил как тягу к реставрации старины. С тех-то пор, вот с этой сахаровской статьи, с постоянными ссылками на неё, и пошло перетёком по Западу, что Солженицын – антидемократ и ретроград.

Но это я зашёл вперёд. А публикация «Письма вождям» произошла 3 марта – и семьи моей ещё не было, и Аля по телефону настойчиво откладывала переезд (какие-то срывы? с архивом не ладится? – я мог лишь гадать). А у меня была только сильно неустроенная, полупустая трёхэтажная квартира, да ещё с неделю не починенная, не запертая калитка – и сам же Цюрих.

Цюрих – очень нравился мне. Какой-то и крепкий, и вместе с тем изящный город, особенно в нижней части, у реки и озера. Сколько прелести в готических зданиях, сколько накопленной человеческой отделки в улицах (иногда таких кривых и узких). Много трамваев; изгибами спускались они к приречной части города с нашего университетского холма, от мощных

³⁵ Ответы журналу «Тайм» (3 мая 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 82–84. Указанная публикация содержит часть интервью, касающуюся разногласий с А. Д. Сахаровым. Вторую часть – о подлогах КГБ, о поддельной переписке – см. в наст. изд. Прилож. 12 (Госбезопасность не унимается.)

³⁶ Сахаров и критика «Письма вождям» (18 ноября 1974) // Континент. Париж, 1975. № 2; см. также: Публицистика. Т. 1. С. 215–222.

зданий университета. (А из прошлого знаю: столько российских революционеров тут учились, получали дипломы в передышках между своими разрушительными рывками на родину.)

Мне и усилий не надо было делать над собой: я уже весь переключился на ленинскую тему. Где б я ни брёл по Цюриху, ленинская тень так и висела надо мной. Сознательный поиск я начал с тех библиотек, где Ленин больше всего занимался: Церингерплац и Центральштелле (по многовековой устойчивости швейцарской жизни они, собственно, и не изменились). Во второй работал эмигрант-чех Мирослав Тучек, весьма социалистического направления, но мне сочувственно помогал. От него я получил и недавнюю книгу Вилли Гаучи, где было собрано всё о пребывании Ленина в Цюрихе, страниц 300 немецкого³⁷; получил домой, в подарок от автора, тут же и навалился. И, совершенно неожиданно! – знакомство с Фрицем Платтенем-младшим, трезвым сыном своего упоённого отца, того Платтена, который оформлял и прикрывал возврат Ленина через Германию в Россию, понёс его на своих крылах. Сын – уже не защищал отца, а объективно выяснял все скрытые обстоятельства того возврата. Дружески мы с ним сошлись (с удивлением я обнаруживал, как быстро восстанавливается мой немецкий). Бродил я и специально по ленинским местам, где он заседал в трактирчиках, как ликвидированный теперь «Кегель-клуб»³⁸, и сколько раз проходил по Шпигельгассе, где Ленин квартировал, и по Бельвю к озеру. А другие цюрихские впечатления наваливались на меня мимоходом, случайно, – но затем, с опозданием и в несколько месяцев, я догадывался, что это же прямо идёт в ленинские главы – как ярчайшая картина масленичного карнавала, или могила Бюхнера на Цюрихберге, или богатая всадница на прогулке там же.

Цюрихберг – лесистая овальная гора над Цюрихом, разумеется тщательно сохраняемая в чистоте, и тоже не первый век, место, куда Ленин с Крупской не раз забирались растянуться на траве, – начиналась своим подъёмом совсем близ моего дома, двести метров пройти до фуникулёра – милого открытого трамвайчика, круто-круто его втаскивал канат наверх, когда противоположный вагончик спускался. (Такое это было занятное зрелище, что я положил себе: вот приедут наши, повезу Ермошку показывать, ведь ему четвёртый год, он уже изрядно смышлён, вот удивится-то! Но поразительная жизнь: и приехали, и прожили там два года – так и не нашёл я момента в кружной жизни, свозил всех ребятишек кто-то вместо меня, может быть, фрау Видмер, жена штаттпрезидента, мы очень с ними обоими сдружились: Зигмунд своими духовными свойствами и политическим пониманием стоял много выше сегодняшнего среднего западного человека, а фрау Элизабет была тепла, сердечно добра, проста, и привязалась к нашим ребятишкам, брала их то на озеро, то в зоопарк, то ещё куда, свои дети у неё уже были близки к женитьбе.) Квартира-то наша была сильно достигаема шумам близких улиц, особенно от нынешнего завывания санитарных автобусов, тут рядом кантональный госпиталь, – а поднимешься на Цюрихберг, минуешь последние дачи богачей – дальше такой лесной покой, и совсем мало гуляющих в будний день, я там отдыхивался, раздумывал, закипали планы литературные, публицистические. (Не забуду встречи с пожилым швейцарцем, он тоже шёл один. Это было вскоре после моего приезда. Он изумился, повернул ко мне, обеими руками взял меня под локти, смотрел на меня с любовью, смотрел, и слёзы у него полились, сперва и говорить не мог. Надо знать сдержанных, жёстко замкнутых швейцарцев, чтоб удивиться: и что повернул без повода, и за руки взял, и плакал.)

Наконец день прилёта наших прозначился: 29 марта. Солнечный, тёплый день, конечно и Хееб со мной. Опять было большое скопление прессы на аэродроме. К самолёту приставили лесенку, меня впустили. Вошёл как в темноту, первым столкнулся с Митькой, обвешанным ручными сумками за всех, потом Аля передала мне Ермошку и Игната, они таращились,

³⁷ *Gautschi W. Lenin als Emigrant in der Schweiz. Zürich: Benziger Verlag, 1973.*

³⁸ Ленин встречался с местными революционерами в ресторане «Штюссихоф», называли их собрания ««Кегель-клуб» – из насмешки: что не будет толку с их политики, а много шуму» (Красное Колесо. Октябрь Шестнадцатого // Собр. соч. Т. 9. С. 481 (гл. 37)).

Ермошка меня узнал, а полуторогодовалый Игнат просто покори́лся судьбе, я понёс их как два поленца, Аля – корзину с шестимесячным Стёпкой. (Тогдашняя фотография стала из моих любимых.) В волнении за внуков шла Катя, Алина мать. Чемоданов они привезли десяток, но это было, конечно, не главное, Аля успела шепнуть, что всё *существенное* не тут, пойдёт иначе. А на Шереметьевском аэродроме гебисты долго держали их багаж: фотографировали все третьестепенные бумажки и, как потом оказалось, размагнитили и все наши аудиоплёнки, сколько интересных записей накопилось у нас.

Покати́ли на Штапферштрассе, кортеж за нами, там толпа фотографов вывали́ла. Наша калитка уже запира́лась – они, человек тридцать, кину́лись в открытую калитку наших милых соседей, молодой пары Гиги и Беаты Штехелин (их дома не было), и, ближе к нашему низкому заборчику зверски теснясь и отталкивая друг друга, вмиг истоптали большую, излелеянную хозяевами цветочную клумбу. И это – европейцы? (Навредили б так русские, все бы: «Во! во! русские только так и могут».) Я кричал им, пытаюсь очнуть. Безполезно. И – не отступил никто с клумбы, так и уничтожили её. Я изумлялся, до чего они надоедны, они изумлялись, до чего я горд. Они требовали, чтобы вся семья теперь вышла позировать на балкон. Ну невозможно! – измученных малышей мы спешили укладывать, да на аэродроме уж нащёлкали без числа. Так и ещё, ещё утверживалась моя ссора с западной прессой – и надолго вперёд.

Зато в одном самолёте с нашими прилетел из Москвы корреспондент Ассошиэйтед пресс Роджер Леддингтон. Аля тут же объяснила мне, что он – из самых самоотверженных спасателей архива, много унёс в карманах. Как же было избежать дать ему хоть маленькое интервью? А вопрос всё тот же: посету ли я Соединённые Штаты? Америка продолжает ждать.

Между тем – приглашали меня и две подкомиссии американской Палаты представителей, дать им показания. Взамен себя слал я им подробное письмо с ответом³⁹ – что́ я *не* полагаю разрядкой международной напряжённости: угодливые умолчания; сакраментальную веру в устные обещания правителей, никогда их не выполнявших; односторонние уступки; позднюю перетолковку договоров; заключение ничем не гарантированных перемирий; равнодушие к зверствам противной стороны. А под разрядкой истинной понимаю «такое несомненно контролируемое обезоруживание всех средств насилия и войны... которое делало бы каждый этап разрядки практически необратимым».

Ещё и сенатор Мондейл (будущий вице-президент) добивался приехать ко мне в Цюрих – но не мог я всего вместить, уклонился.

А тут пришло письмо известного сенатора Джексона, сильно запоздавшее в пути (не по почте, он перемудрил с оказией) [[см. здесь](#)]. И опять – приглашение, и опять – благодарю и отказываюсь [[см. здесь](#)].

А тем временем всё притекали же и копились тысячи писем не столь известных людей, отвечать на них – да даже читать их – не было никаких сил. А на Западе привыкли, чтобы каждое учреждение и каждое лицо отвечало на каждое письмо: держи какую хочешь большую контору, пусть отвечают за тебя секретари – но отвечайте. Уже на меня обижались многие и в Швейцарии. Супруги Видмеры посоветовали мне отозваться через Швейцарское телеграфное агентство. Так я и сделал [[см. здесь](#)].

Тут – не хватало ответа, который уже выпрашивали у меня швейцарские корреспонденты, который хотели слышать и все тут: по каким именно причинам я избрал Швейцарию для своего жительства? И неловко было бы объяснить, как это получилось само собой. А говорить, что я давно пишу Ленина в Цюрихе, – преждевременно. И изо всех аргументов оставалось – традиционное сочувственное представление в России о Швейцарии да поразительная

³⁹ В Палату Представителей Соединённых Штатов (3 апреля 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 78–80; Letter from Alexander Solzhenitsyn regarding invitation to appear // Détente: Hearings before the Subcommittee on Europe of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives. 93rd Congress, 2nd Session. 8 May 1974. P. 556–557.

история, рассказанная Герценом в «Былом и думах» о силе той демократии, где община сильнее президента.

Приезд детей поднимает сразу много вопросов. Митю – надо устроить в школу. Кстати, школа совсем рядом, на Штапферштрассе, – и школьники, видя из окон, как донимают нас корреспонденты, уже провели манифестацию с плакатами: «Оставьте Солженицына в покое!» Иду, подаю заявление. (Вослед начинают мне течь бумаги с методическими указаниями, советами.) Митя по уровню оказывается выше, чем школа ожидала, быстро схватывает и язык, ему становится легко, через два месяца его переводят на класс старше, в 6-й, но и тут он, по своему динамичному характеру, зорко использует либеральные щели в школьном распорядке, меня вызывают объясняться к учителю.

А малыши? Ведь они круглосуточно требуют Алю, им всё тут непривычно, смена резка (Ермоша, хныча: «Мама! а я – московский мальчик или *цюрихский*?»); вот старшие растеребили пух из подушки по всему полу, младший плачет. Да у матери опережающая тревога: как детям в океане чужих языков не упустить свой, русский? ежедневно помногу читает им, целый чемодан привезла детских книг. Так Аля – полностью отдастся малышам, уже не будет сил для нашей работы, для ответов на дёргающий мир? А домовое устройство? оно неперечислимо: неизвестный мир, неизвестные в нём предметы, неизвестные цены и нет языка! К счастью, приходит помощь в виде пожилой эмигрантки, живущей в Цюрихе, Ксении Фрис, она наставляет Алю во всех бытовых препонах и находит – чудо какое! – в сердце Швейцарии одинокую, простонародную, с самобытным русским языком русскую бабушку, закинутую судьбой сюда из Маньчжурии, когда, после 1949 года, наша тамошняя (сибирская) эмиграция бежала от пришедших китайских красных. И эта «баба Катя», Екатерина Павловна Бахарева, в своей суровости проникается сердечной теплотой к нашим малышам, как если б вся её одинокая жизнь и была предназначением дожидаться вот этих крошек и холить их, и обучать простейшим навыкам жизни. А была бы нянька – иностранка? (и все шансы были за то).

Правда, жила она далеко за городом, у нас бывала только до полудня, но и то какая выручка. Остальное время малыши были с бабушкой и мамой. А продукты покупать? Тут уже Митя выручал, округу быстро освоив. На женщинах наших – всё хозяйство, да если б только! Ведь если *самим* сейчас не вычитать набор выходящего второго тома «Архипелага» (а через несколько месяцев и «Телёнка»), то книги выйдут с изрядными опечатками: у «Имки» нет средств держать корректора. Да не только Катя, уже и Митя много помогает: он бойко читает с подлинника вслух, со всеми запятыми, Аля правит по вёрстке. И вот – всё это вместе, перевари.

А малыши нуждаются не только в уходе, но и в зорком глазе. Ведь всего лишь год назад присылали нам гебисты угрожающие письма, стилизованные под угрозы уголовников, что расправятся с детьми, и почему бы это была шутка? В числе доблестей чекистов Дзержинский не перечислял шутильностей. Однако, живя у Ростроповича в запретной зоне Барвихи, я на лыжах гонял часами по лесу – и знал, что никто меня не посмеет тронуть: ляжет, несомненно, на *них*. А здесь, за границей, уже из полиции двух стран предупредили меня, что у международных террористов – я *на списке*, да мне и так было ясно, Советы же и обучали и снабжали их. И теперь при любом похищении ребёнка – ГБ и вовсе руки умоет: это – не наша страна, разбирайтесь сами. Пока беда не случилась – все скажут: пустые страхи, паранойя. А если случится (в XX ли веке не берут заложников?) – тогда только «ах! ах!». Правда, прогулки детей в город – или с фрау Видмер, или с дружной русской эмигрантской семьёй Банкулов, живущих под Цюрихом (нам посчастливилось познакомиться с ними через храм о. Александра Каргона), – прогулки начинаются не сразу, но и наш крохотный дворик, где дети всё время и мы устроили им разные забавы-горки, игровую площадку, – дворик-то просматривается с трёх сторон, и решётчатый заборчик всего по грудь, его перескочить ничего не стоит.

И перескакивали несколько раз. Какой-то фанатичный молодой человек сел на ступеньках нашего дома и объявил, что – никуда не уйдёт, что я – Иисус Христос, а он отныне будет

проповедовать вместе со мной. И просидел на крыльце чуть не сутки, ни на чьи уговоры не поддаваясь, пока позвали полицейских, не пошёл и с ними, и они его мягко и бережно («права человека»!) вынесли на руках и отвезли подальше. – А то взяли нас в осаду несколько молодых, довольно бандитского вида, привезли и на руках держали, носили какое-то несчастное уродливое существо, взрослого карлика, сына из богатейшей латиноамериканской семьи: он желал встречи со мной, чтобы начать совместно писать книгу! – То, по недосмотру, были у нас не заперты и калитка и дверь – тотчас ворвалась в дом какая-то наглая советская баба и, не скрывая враждебности, развязно нам выговаривала. – То другая женщина, тоже с русским языком, настойчиво вызывала к калитке, не хотела бросить письмо просто в почтовый ящик; взяли – рукописное письмо, от кого же? от скандально знаменитого – авантюриста? проходимца? – Виктора Луи. Он, *простой советский человек*, лежит в цюрихском госпитале, размышляет о смысле жизни; считает, что неприятности между нами теперь уже позади, – и что же? – раскаивается, как разыгрывал мою слепую тётю? как закладывал мою голову под советский топор? – о нет, пишет о своих собственных лагерных страданиях в прошлом, и чтоб я очистил его от обвинений, что он продал «Раковый корпус» на Запад; а теперь он не против бы встретиться со мной после выписки из госпиталя! – А сколько приезжали и стояли за заборчиком по грудь (всё в том же отворённом дворике соседа Гиги), и настойчиво звали меня. Среди них и очень, видать, искренние люди – и, явно же, подозрительные провокаторы, какие-то подставные фальшивые лица со смутными историями.

А ещё же приезжали посетители, заранее списавшиеся со мной, которых я приглашал беседовать в дом. Тут был и казачий вождь В. Глазков (я не сразу разобрался, что он – сепаратист-казак: «Казакия» – отдельная от России страна). То, по созвучию, немецкий филолог Вольфганг Казак, сидевший в СССР в лагерях военнопленных, с тех пор вовлекшийся и в русский язык, затем и в русскую литературу. То – неугомонная Патриция Блейк, из ведущих американских журналисток, три года назад швырнувшая в мир, к нашему ужасу, подслушанную ею тайну, что есть такой «Архипелаг ГУЛАг» и уже переводится на английский! Теперь она желала писать мою биографию. – И американские слависты. И та самая графиня Олсуфьева из Рима, о которой когда-то на Поварской сладко повествовали мне в Союзе писателей, – а теперь она приехала доказывать мне отзывами итальянских профессоров, что её за три месяца сделанный итальянский перевод «Архипелага» – превосходного качества. (А оказался – совсем плох.) – И приезжали тщеславные эмигрантские пары, чтобы только отметить, что были у меня. А бывали – и самые славные старики, и с важными свидетельствами о прошлом, и надо бы плотно заняться ими, да нет времени.

Приезжал В. В. Орехов, редактор многолетнего (с 20-х годов) белогвардейского «Часового» (безсменная вахта, пока не дождёмся падения большевиков). В его письмах перед тем странные какие-то встречались намёки на нашу с ним никогда не бывшую переписку. Уж я думал – не тронулся ли он немного? Нисколько, приехал, уже за 70, с ясной головой и несклонным духом, участник Гражданской войны, капитан русской императорской армии. И показал мне 2–3 письма *моих*! Моим, безусловно, почерком, замечательно подделанные, и с моими выражениями (из других реальных писем), да не ленились лишний раз Бога призвать, и с большой буквы, – а никогда мною не писанные! Подивился я работе кагебистского отдела. А плели они эту переписку с 1972 года. Сперва я будто запрашивал у Орехова материалы по Первой Мировой войне, и он мне слал их – куда же? а в Москву, на указанный адрес, заказными письмами с обратными уведомлениями – и уведомления возвращались к нему аккуратно, с «моей» подписью. Изумление? Да столько ли чекисты дурили! Затем, видимо для правдоподобности, «я» предложил ему сменить адрес – писать через Прагу, через какого-то профессора Несвадбу. Тот подтверждал получение писем Орехова. А в конце 1973, когда уже завертели полную «конспирацию», передали Орехову приглашение «от меня» встретиться нам в Праге, уже не для исторических материалов, а для выработки общего понимания и тактики. И Орехов абсолютно

верил и лишь чуть-чуть почему-то не поехал – да тут меня выслали. Так – не состоялась ещё одна готовимая на меня петля: Орехова бы там схватили – и вот уже доказанная моя связь с белогвардейским заговором. Это был у ГБ, очевидно, запасной против меня вариант (да ещё один ли?).

Тут как раз брал интервью «Тайм», я дал им и эту публикацию, факсимиле «моего» почерка, поймал КГБ на подделке [\[см. здесь\]](#). И урок: не надо такие случаи пропускать: эта публикация ещё сослужит защитную службу в будущем. Урок: что борьба с ГБ никогда не утихает, пока оно растёт на Земле чумною коростой, – и никогда нельзя позволить себе сложить руки.

Да ещё ж было одно место в Цюрихе – импозантная контора Хееба. Посещал я её раз-два в неделю, с деловитостью подшивали какие-то бумаги фрау Хееб, пожилая хрупкая дама, и юная секретарша, а неизменно важный Хееб в своём кабинете сидел за огромным письменным столом, тут и толстые своды швейцарских законов, – да и мне предлагал немало бумаг на главных языках Европы, а то и побочных, я сидел потел, но все они были как-то не к делу: пустейшие поздравления, пустейшие приглашения, куда я ни за что не поеду, просьбы, просьбы о встрече, приёме, – да я и облегчён был, что всё пустое, не надо ещё на это время тратить. (И само собой – книги, книги в подарок, есть и вовсе лишние, куда их? только на наш чердак.) А если деньги мне нужны? – Хееб выписывал чек, он ведь распоряжался всем. И так не приходило мне даже в голову, что когда-то надо сесть, расспросить о *делах* – каких там ещё?

А вот и дело: говорит Хееб, надо мне ехать для судебного свидетельства. С чего это? Оказывается: лондонский издатель Флегон, – тот самый, испортивший когда-то своим пиратским изданием «Круг» по-русски, хороший друг Виктора Луи, – теперь так же пиратски издал первый том «Архипелага», ИМКА-Пресс судится с ним, но раз я теперь на Западе – требуется и моё присоединение. Боже, как не хочется, как не до этого душе, только и рвущейся – начать бы писать. Но надо так надо, в чужой монастырь со своим уставом не лезь. Едем, в цюрихский английский консулат. Ещё надо изрядно потолкаться на Западе, чтобы получить отращивание к судам! И я еду как в тумане. Какой-то чин садится со мной беседовать – теперь, конечно, по-английски, и давай перестраивай мозговые извилины с немецкого, Боже, как мучительно. Но, с другой стороны: если не пресечь Флегона – значит признать, что у меня нет авторских прав на «Архипелаг». Ну, кой-как моё мнение изложено, издания Флегона я не разрешал и протестую, теперь – приноси присягу на Библии. Приношу. (Стоило бы из-за чего другого! И безбожник Флегон в Лондоне тоже охотно присягает.)

Проходит недели две – получаю из Лондона телеграмму от Флегона, что он такого-то числа явится для вручения мне судебного иска. Я и внимания не придал. Но в назначенный день – тёплый весенний день, появляется на Штапферштрассе некий подвижный человек в чёрной шляпе и в чёрном же плаще-накидке, демонстративно длинном и с широким запахом, как ходили в Англии прошлого века, может быть, стряпчие, напоминает большую летучую мышь. На каменном столбике нашей калитки что-то наклеивает, возвращается на другую сторону улицы и стоит там. Выбежал Митя, вернулся, сообщает мне, что это, на английском языке, крупноразмерными, увеличенными буквами, вызов меня в Высший Суд Великобритании, и с какой-то важной печатью. Первое наше движение – пусть Митя сорвёт прочь, да и всё. Но какой-то инстинкт почему-то подсказал мне – не срывать, чёрт с ним, пусть висит. Прохожие останавливались, смотрели, удивлялись, шли дальше. Так и провисел до темноты. А Флегон-то, оказалось, все эти часы дежурил с фотоаппаратом – сфотографировать, как мы срываем, это и будет документально означать, что я – принял повестку в английский суд и теперь подпадаю под него. (Потом я узнал, что иски эти не разрешено посылать по почте, а только лично вручать. Но всё равно, английские газеты уже печатали: *издатель* «Архипелага» подал на *своего автора* – стало быть, недобросовестного – в суд. Подарок для ГБ. В каком-то скороспелом дерьме хотели меня измазать.)

Нет, решительно не хватало нам с Алей времени для простого раздумья.

И в один из чудесных апрельских дней повёз я её фуникулёром этим самым на Цюрих-берг, уселись мы в лесу на скамье, с видом на Цюрих далеко внизу, и стали отходить.

Не специально искали главную мысль или деловое решение, а просто отходили. Да к тому же – по-православному Страстная неделя шла, мы уже хаживали и в наш подвальный храмик, настроение очищенное.

Посидели часок – и поняли. Ведь была ж у меня уже года три назад идея, на том я тогда завещание построил (которое Бёлль заверял): 4/5 ото всех моих гонораров отдать на общественные нужды, только пятую часть оставить для семьи. А в январе, вот только что, в разгар травли, я объявил публично, что гонорары «Архипелага» все отдаю в пользу эков. Доход от «Архипелага» не считаю своим – он принадлежит самой России, а раньше всех – политэкам, нашему брату. Так вот – и пора, не откладывать! Помощь нужна не *когда-то там* – но как можно быстрее. Жёнам эков – собирать передачи и ехать на свидания *сейчас*, дети эков и старики-родители недоедают *сейчас*. А тем более, что у нас подготовка обсуждена: прошлым летом в Тарусе встречался я с Аликом Гинзбургом и обговаривали мы с ним, как бы нам, вытягивая мою «нобелевскую» из-за границы, наладить денежную помощь в СССР политэкам и их семьям, дать им возможность выжить. (Да преследования в СССР и сверх арестов густились: у кого обыск, кого с работы уволили, так тоже без заработка.) И Алик брал на себя всё распределение, имея к тому и жар сердца, и виртуозные конспиративные способности, и великодушный организаторский талант. И уже о деталях сговаривались. И тогда упиралось только: *как* же переводить деньги с Запада. (Лишь кой-кому из «невидимок» мы тогда исхитрились.) Так вот, теперь, когда мы здесь, – неужели не найдём способа? Уже нам объяснили здешние знающие, что лучше всего устроить фонд, ему отначала и передать жертвуемые деньги.

В это двухчасовое сидение, в прозрачной ранней весенности, мы с Алей всё и решили. Называться будет: Русский Общественный Фонд, отдадим ему все мировые гонорары с «Архипелага», это, наверно, и сложится под те 4/5, а то и больше. Сперва – помощь экам, преследуемым, но не упускать и русскую культуру, и русское издательское дело, позже, может быть, и ещё какие-то восстановительные в России работы. Всё, начинаем действовать, утверждать Фонд!⁴⁰ Через Хееба, разумеется, он тут всё понимает. А дальше – будем изобретать, *каким* же образом средства посылать.

И Бог споспешествовал нам: вот познакомились с семьёй Банкулов. Виктор Сергеевич оказался в высшей степени рассудительным, деловым и душевно-надёжным человеком. Его первого мы посвятили в наш план, он принял большое участие, много верного советовал, затем стал и членом Правления Фонда. А уж всю конспирацию взяла на себя Аля, скрепляя звенья Невидимок, – эта цепь нисколько не устарела, она ещё как нам пригодится!

А сложилось так, что почти в ту же неделю досталось нам с Алей – и просто на ходу, с какой-то внезапной ясностью, ещё одно крупное жизненное решение принять.

Здесь – не дадут мне работать. Здесь – скрещенье всех европейских путей. Поток посетителей. Чтобы писать – приходится уезжать в горы, и без семьи. Искать в Швейцарии – глушь и переехать всем туда? А есть ли такая? (Спустя время Аля и ездила вместе с Банкулами на плоскогорье Юру, искать там подходящее. Ничего не нашли.) А тогда – уезжать в другую страну? А – куда?

Странно. Встретила меня немецкая Швейцария изумительно, гордилась таким приобретением. И весь образцовый порядок этой страны как будто так соответствовал моей методической, организованной натуре. Я искренне эту страну одобрял, всё преотлично. К тому же,

⁴⁰ Русский общественный фонд помощи преследуемым и их семьям был учрежден в 1975 году. Солженицын передал Фонду «отныне и впредь» все мировые гонорары за «Архипелаг ГУЛАГ», а затем и авторское право на эту книгу. Фонд помог многим тысячам политзаключённых, продолжает работу поныне (2021), сверх помощи бывшим заключённым осуществляет ряд культурных и социальных проектов.

когда-то учёный в детстве немецкий язык, пригожавшийся редко, для чтения книг, вдруг теперь счастливо прорвался во мне – и я оказался способен объясняться не только на бытовые темы, но даже и на отвлечённые, хотя за полчаса уставал. Очень мне это помогло в швейцарские годы. Так десятилетиями лежащий в нас груз вдруг оказывается небезполезен, как бы мудро задуман для какого-то этапа жизни, не пропадает заложенный в детстве труд.

А сердцу – не было покойно. Цюрих – исключительно красивый город. А идёшь по нему, сердцу – нехорошо, тоскливо. Да это – и не к Цюриху относилось: скорей, это было общее неприятие западного преизобилия и безопасности. Но – и нависание СССР над плечами.

А приехала Аля – и так же в короткие недели переняла то внешнее ощущение драконовых зубов, которое я испытал в Норвегии. Странно, что, живя в Союзе, мы никогда так не ощущали его нависающую силу, как сразу почувствовали здесь. И вот, в какой-то миг ясности, на мансарде только освоенной цюрихской квартиры, я высказал, и жена как будто приняла: что, ох, не удержимся мы здесь; как уже волны и волны наших эмигрантов – не потянемся ли через океан? (И – продолжали осваивать квартиру, вертикальную от подвала до чердака. Женщине – трудней эти вечные переезды. Аля ещё потом отшатывалась и усиленно сопротивлялась, не хотела за океан. Сию минуту ведь ничто не гнало из Европы, не так легко подниматься на новый переезд. Но того требовало протяжённое будущее.)

Так мы начинали жизнь в Цюрихе, уже сразу решив из него уезжать, хотя бы в Юру?

А если не в Европе – то куда?

Методом исключения – получались или Штаты, или Канада. Да ведь детям и хорошо бы дать самый международный язык – английский.

А ещё же держала нас и назад тянула – задача защиты наших собственных арьергардов. Для людей, как-то связанных в прошлом со мной, и особенно для Угримова, всё ещё хранящего архивы, вот этот первый год после моей высылки, и особенно первые месяцы, был напряжённо опасным, решающим: последует ли теперь разгром их всех или не тронут? Реальной силы защитить их у меня не было никакой, но ведь *реальной* силы не было у меня и все прошлые годы – однако же борьба прошла успешно. Пока советское правительство ещё продолжало меня бояться – а оно боялось меня! – я должен был всемерно показывать, что буду громко и сильно защищать каждого своего помощника, не дам им расправиться втихомолку. С волнением открывали мы приходящие из Москвы «левые» письма. Пока, неделя за неделей, все оставались нетронуты, хотя были наглые кагебистские звонки к Люше Чуковской. Затем узналось о преследованиях Эткинда, и надо было поддержать его, я написал защитное заявление, и ещё раз напомнил о Суперфине⁴¹. Море было прессы вокруг, а устойчивых приёмов, навыка, как же и где быстро и заметно напечатать, – у нас не было. И всё ещё не понимал я до конца, насколько Скандинавия – глухой угол, откуда плохо раздаётся по Западу: приехал как раз Пер Хегге – и я отдал ему для «Афтенпостен» статью. И заглохли там мысли, которые надо бы разъяснять Западу всетелевизиюно, главное же – что нельзя превращать *разрядку* в поступенчатый Мюнхен.

Да не одна ж Скандинавия: не избежать мне было в первые месяцы объятий какой-то крупной телевизионной компании, да американской конечно, – и я дал интервью Си-би-эс⁴².

⁴¹ В газету «Афтенпостен» (25 мая 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 85–87. *Эткинд* Ефим Григорьевич – доктор филологических наук, профессор, в 1974 году за контакты с А. И. Солженицыным, поддержку И. А. Бродского был уволен из педагогического института, где 25 лет преподавал французскую литературу, исключён из Союза писателей, лишён научной степени, звания и должности. *Суперфин* Габриэль Гаврилович – филолог, ученик профессора Ю. М. Лотмана в Тартуском университете, отчисленный в 1969-м по представлению КГБ. В 1970–1972 годах – один из редакторов подпольного бюллетеня «Хроника текущих событий», арестован в июле 1973-го, в мае 1974-го приговорён к пяти годам заключения и двум годам ссылки.

⁴² Телеинтервью записывалось компанией Си-би-эс в Цюрихе 17 июня 1974-го, демонстрировалось 27 июня 1974-го. Полный текст: The Alexander Solzhenitsyn interview // Congressional Record (Senate) for 27 June 1974. Vol. 120: 1974, 93rd Congress, 2nd Session. P. 21483–21486. Русский текст: Телеинтервью компании «Коламбия бродкастинг систем» // Мир и насилие. Франкфурт: Посев, 1974. С. 49–96; Из телеинтервью компании CBS (17 июня 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 99–101.

Они приехали к нам в дом шумной, технически оснащённой, крупной компанией, человек 10, за малой недостаткой: не было хороших переводчиков. И я тоже к этой встрече оказался плохо готов, не понимал, кто этот Кронкайт, какой он левый, и сколько подколов в его вопросах, – всё о западной медиа да моём отношении (уже все отметили его), да об эмиграции, да самито вопросы мне плохо переводил норвежец Хегге, а уж мои ответы на английский совсем сумбурно и неверно переводил Дэвид Флloyd, оба не переводчики, тем более не синхронные, – и Кронкайт меня не понимал.

Без надобности полез я и оценивать Третью эмиграцию: этично ли уезжать по отношению к остающимся? и хорошо ли, кто едет в Америку? и как о тех, кто едет в Израиль? Не моё было дело в это вмешиваться, – но ещё понимали мы отъезжающих как недавних соотечественников, как *своих*, а рваная рана отрыва от родины пылала. И мысли были – как Гоголь когда-то написал: «Настал другой род спасенья. Не бежать на корабле из земли своей, спасая своё презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасти себя самого в самом сердце государства»⁴³. (А привелось и ему годами жить в Италии.)

Тем временем вынужденная эмиграция – и через меня же! – коснулась столь близких нам Стивы Ростроповича и Гали Вишневской. Ведь никогда же бы их артистическая жизнь не пересеклась бы с каракатицей мерзкой, тусклоглазой политики, если б не их широкодушный и дерзко отважный шаг – дать приют гонимому. И сколько ж за то унижений, подножек, насмешек, плевков пережили они в смрадном объёме советского Министерства культуры, от угодливых прислужников его: их лишали концертов, не только заграничных, но и столичных, Ростроповича гнали ездить почти только по дальней провинции, Вишневскую вытесняли из любимого ею Большого театра, сколько прежние друзья отворачивались от них трусливо, – после лет сиятельного успеха как им было больно, оскорбительно. Но уж года три они сносили все унижения, и ещё сколько-то бы продержались? Однако после моего изгнания нажим на них стал ещё мстительней: отупевшие от злобы администраторы вместо того, чтоб теперь-то им помягчить, – прямо уже вытесняли их прочь и прочь из храмины советского искусства. И друзья наши не выдержали, согласились уехать. Так любовно устроенный ими дом в Жуковке с концертным залом, никогда не опробованным, и те все аллеи, где они дали мне вынашивать «Красное Колесо», а Але – Игната и Степана, – всё это брошено, дочери Оля и Лена оторваны от своего детства – и всей семьёй в четыре человека Ростроповичей понесло изгоняющим восточным ветром – куда-то в Европу, они сами ещё не знали куда. Да тут был для них не чужой мир, сколько раз они собирали тут жатву славы, сколько друзей тут у них, знакомых, и сколько сейчас польётся предложений, они были в положении, несравненно благоприятнее стольких эмигрантов, – однако от потери родины, без права вернуться, были в ошеломлении. В таком растерянном, смущённом, неприкреплённом состоянии они и посетили нас в Цюрихе. Улыбались – а горько, Стива пытался шутить, а невесело. В нашем травяном дворике сидели мы за столом до сумерек, средь обступивших нас швейцарских особнячков с высокими черепичными крышами – никогда не примерещился бы такой финал пять лет назад, когда они приютили меня в Жуковке.

А ещё в то лето дважды приезжал к нам В. Е. Максимов. Взяв эмиграционную визу почти день в день с моей высылкой, в начале февраля, он уже вот несколько месяцев в Европе, и осматривался и метался: как же приложить силы? Его тут знали мало. Он – не знал ни одного языка. Начать эмиграцию с того, чтобы сесть и тихо писать следующий роман по-русски, – было не по нраву его, бурно-политическому, да и не давало перспективы: нуждался он в положении и в средствах к жизни, приехал он с семьёй. Он задумал выпускать в Париже литературно-политический эмигрантский журнал, по карманному формату удобный для провоза

⁴³ См.: Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями (гл. XXVI: Страхи и ужасы России).

в СССР. Но в Париже уже год восседал другой эмигрант – А. Д. Синявский, как писатель известный менее Максимова, но громкий на весь мир своим судебным процессом и уже создавший себе и в Сорбонне, и в эмиграции почтительно-уважительное окружение. Итак, кандидата в главные редакторы было два, а создавать журнал не на что. Но Максимов, в отличие от Синявского искренний и горячий противник коммунизма, уже выглядел, кто бы мог дать деньги на подобный журнал – германский богатейший издатель правого направления Аксель Шпрингер, с его таким же искренним неприятием коммунизма. Однако, чтобы Шпрингер дал на журнал деньги, весьма значительные, он должен был получить основательную рекомендацию, письменное поручительство, и Максимов не видел другой возможности, как от меня. С этим он и приехал в Цюрих.

С Максимовым я до того встречался лишь один раз: сидели мы с ним рядом в «Современнике» на спектакле. Отметно было – и вполне понятно мне – клокотание гнева в его груди и против советского чиновничества, и против литературных лизоблюдов. По повести его в «Тарусских страницах»⁴⁴ видно было, что Максимов глубоко черпнул реальной жизни, да и лагерей коснулся, да и детство у него было безпризорное. В напряжении моих последних лет в СССР я успел прочесть две части из его «Семи дней творения»⁴⁵ и нашёл их очень основательными, писатель без подделки и без самоукрасы.

Теперь – этот журнал? Что он будет непримирим к коммунизму – это не вызывало сомнений. Но всё ли – в том одном? А как он ляжет между эмиграциями? Уже отметно было, что Третья эмиграция отшатывается от Первой – Второй (да и против коммунизма никакой ретивости не проявляет). А сам Максимов проявлял тогда к *белым* холодность, а судьбу «остовцев» и военнопленных ему негде было перенять, ощутить. Безалаберно-неукладистая судьба вряд ли связала его душой с историческими и духовными традициями России. Так что надежда на него была, как говаривала моя Матрёна, – *горевая*. Именно *русскую* линию Максимов вряд ли удержит. Я так и сказал ему, в шутку: «Не рассчитываю и не настаиваю, чтобы вы защищали “Русь Святую”, но, по крайней мере, – не охаивайте её!» И всё же я представлял себе Максимова в русских сыновних чувствах определённое, чем он был. Да в тот год, все мы посвеже на Западе, ещё невозможно было вообразить уже близких трещин размежевания.

Но как не поддержать заведомо противобольшевицкое мероприятие? Только вот какую идею я ему предложил – в укрепление фундамента и смысла журнала, – и он её воспринял и потом осуществил: этим журналом объединить силы всей Восточной Европы, чего более всего должны бояться на Старой площади – дружного объединения восточноевропейских эмиграций. (В таком духе я потом послал и приветствие в их первый номер, впечатлевая это направление в рождаемый журнал. И само название подсказал: «Континент», а то Синявский уже предлагал Максиму собезьянничать с Кафки «Процесс».) И – написал Максиму требуемую бумагу, так и заложив помощь от Шпрингера.

Максимов был не один, с милой молодой женой. Уже в сумерки и в вечер засиделись по-русски за чаепитием у нас на первом этаже, а со второго что-то стал плакать Стёпка. Я оставил Алё с гостями, а сам пошёл его утишить. Было ему тогда месяцев девять. Взял его на руки, он сразу успокоился. Подержал его, положил – тут же опять кричит. Только взял на руки – он опять успокоился. И так вдруг – понравилось мне держать его на руках и прижимать, по-матерински. Как будто какая-то невидимая сила или радость переливалась то ли от меня к нему, то ли от него ко мне. И что мне идти туда вниз, за чаем сидеть? Стал я тихо-медленно похаживать с сыном то по комнате, то выходил на балкон. Он посапывал счастливо. Начался тихий дождик. В соседней комнате смирно спали старшие дети. А я держал это сокровище,

⁴⁴ Максимов В. Е. Мы обживаем землю: Маленькая повесть // Тарусские страницы: лит. – худож. ил. сб. Калуга: Калужское кн. изд-во, 1961. С. 223–234.

⁴⁵ Солженицын читал роман В. Е. Максимова «Семь дней творения» в самиздатской копии; первое издание – Frankfurt / М.: Посев, 1971.

своего младшенького, – и думал о чуде продолжения жизни. (Он и Степаном-то назван вместо меня: я родился – на Степана, но мама хотела сделать меня Саней по только что умершему отцу; ныне я вернул долг.) И когда он ещё вырастет, при моей ли жизни? И кем станет? И насколько и в чём продолжит меня, комочек крохотный? Мы с ним как союз какой-то заключили в тот вечер.

Но когда же, когда ж я начну снова работать? Ведь на родине писал, под всеми громами, до последнего дня, – а тут вот уже два месяца – и не могу? Задушили перепиской, заклевали вопросами, требованиями, визитами через калитку и окриками поверх заборчика.

Да главное: архива моего всё нет и нет. Хотя Аля уверена: отправка – самая надёжная, дойдёт!

Письма, большей частью иностранные, приходят к нам разбирать, сортировать (уже от чешской помощи отказались) то Алекс Фрис, дочка Ксеньи Павловны, то Мария Александровна Банкул. Даже физический объём этой переписки страшен, никаких комнат в нашей квартире скоро не хватит, а уж – по содержанию? у какого человека станет сил во всё это вникнуть? Изредка на какие-то вопиющие отвечаю.

А вот – приехали раз, и второй от НТС (Народно-Трудовой Союз, давние стойкие анти-большевики), этих нельзя не принять. А вот – вторым или третьим письмом добиваются встречи со мной деятели Международной Амнистии. Это и понятно: я стал известен как борец против тюрем и лагерей, – но и они же, они же? Однако я ещё из СССР, через западное вещание, понял: они ищут двугривенные только под фонарём, где их видно (западные страны, просвеченные информацией), а которые закатились в тоталитарный тёмный угол – тех и искать не будем.

А между писем приходили же ещё книги, книги, только успевай распечатывать, упаковки – в хлам, а книжки – на чердак, по крутой и тесной лестничушке. Чтò иностранцы шлют на языках – и не смотрю пока, времени нет, но – чтò русские? Когда спохватился, стал сортировать – названия частью слышанные, частью не слышанные, да и журналы целыми комплектами – «Белое дело», «Белый архив», «Первопоходник», – да в СССР никогда бы мне и глазом их не увидеть! Не успеваю осмыслить, объять, – а ведь у меня сами собой, без усилий, от доброжелательства и доверия ко мне старой Первой эмиграции, – собираются самонужнейшие и редкие книги, безценная библиотека по российской революции (80 % того, что нужно для «Красного Колеса», потом пойму). Так надо же дарителей благодарить! (А не всем, не всем ответил, иные так и скончались.)

И наконец – наконец! – 16 апреля, на третий день православной Пасхи – не могли мы заранее угадать, в какой форме и через какого ангела это явится, – подъехал к нашей калитке обычный легковой автомобиль немецкой марки, из него вышла молодая немецкая пара и выразила желание видеть меня. У нас был сын Хееба, завёз какую-то почту, и при нём приезжий не назвал себя вслух, а протянул мне прочесть своё удостоверение, – теперь, наконец, я могу его и назвать: сотрудник германского министерства иностранных дел Петер Шёнфельд. Познакомил Алю и меня также и со своей женой Хильдегард и маленькой дочкой. И скромно передал нам два чемодана и сумку, всего – чуть не на пуд. Аля кинулась в другую комнату смотреть содержимое. Боже мой! – первая, но главная часть моего архива «Красного Колеса» – рукопись неоконченного (и нигде же не сдублированного!) «Октября Шестнадцатого», главных конвертов заготовок штук сорок и тетрадь «Дневника Р-17» – моего уже многолетнего дневника вокруг написания «Колеса». Готов я был Шёнфельда расцеловать! Ощущение чуда: архив спасён из пасти Дракона, невидимо перепорхнул из-под его лапищ, через пол-Европы, – и вот теперь на наш стол, на наш диван! Ликование – не могу сопоставить равного: как выздоровление от рака!

С этого дня – можно было и начинать работу.

Можно – да нельзя. О, сколько же помех. Союз итальянских журналистов присудил мне премию «Золотое клише» (её вручали и пражской молодёжи за август 1968) и ждёт, когда я приеду получать. (Ехать? никуда не в силах. Но если они *сами* приедут в Цюрих – тогда, ну, тогда надо готовить речь.) – А в эмигрантской русской прессе разгорается жаркая дискуссия о моём «Письме вождям», теребят, чтоб я участвовал и отвечал на критику. – А Видмер звонит: вызывает меня министр юстиции Швейцарии, надо ехать, и он меня повезёт.

Эта поездка прошла в солнечный весёлый день. Разговаривали с Видмером по-немецки не переставая – как я не устал, не знаю. А ехали из одного «ленинского» города в другой «ленинский», предчувствовал я победу над ним: вот уж, напишу! А вот – проезжаем мимо подъёма на Зёренберг, где Инесса осенью 1916 отсиживалась, не желая встречаться с Лениным; если её описывать – подняться, посмотреть? (Уже посещал меня американский славист, рассказавший, что обнаружил: в те недели, когда для Ленина числилась она в Кларане, – тут, в долине, нашёл в гостиничной регистрации и Арманд, и Зиновьева)⁴⁶. Но нет, Инессу я не буду описывать.

Вот и Берн. И мы – у министра Фурглера, впоследствии президента. (В Швейцарии нет постоянного президента, это сменное дежурное лицо.) Фурглер встречает меня торжественно и после короткой беседы торжественно же объявляет, что мне, без испытательного срока, даётся *Niederlassungsbewilligung* (разрешение на постоянное жительство). А мне стыдно-то как: ведь и Видмер не знает, что мы с Алей решили уезжать... (Вслед за тем цюрихская полиция выдаёт всей нашей семье швейцарские паспорта.) Ещё успеваем с Видмером посмотреть на характерный Берн, поднявшись сотнями ступеней на соборную башню, и оттуда глянуть на черепичное море крыш, на слитную стиснутую черепичность старого города и готические сталагмиты на самом соборе. (Его построили в XV веке перед Реформацией. В решимости Швейцарской Реформации подчеркнуть, что истиной обладают все, – отдёрнули занавес алтаря и прихожан посадили в алтарь, лицами назад.)

А итальянские журналисты – ну конечно же согласились приехать в Цюрих, конечно, для них это вовсе не труд. В назначенный день сняли зал в здешней гостинице, мы приехали, ахнули: больше тридцати человек, да живые, подвижные, жадные поглядеть и послушать, и глаза и речь у них какие заряжённые. Расселись. Переводила Алекс Фрис, знающая итальянский как родной. Сперва один итальянец выступил, второй, вручили мне эту коробочку. Теперь – моя очередь отвечать. Говорю по фразе, останавливаюсь, Аликс переводит.

А приготовил-то я, оказывается, речь ого-го какую серьёзную⁴⁷. Ещё находясь в состоянии неоконченного перелёта из одного мира в другой, ещё не усвоив ни точек отсчёта, ни реальных уровней, но уже и давимый нагромождением торжествующей западной материальности, заслонившей всякий дух, – я, опережая догадками равномерный опыт, составил для журналистов речь – вот уж не в коня корм. Мне казалось: пора подниматься в оценках на вершины – а ещё на низменности ничего не было разобрано! И журналисты бедные – угасали на глазах от мудрёных этих высот. После церемонии подошёл ко мне один молодой журналист попроще и едва не плачущим голосом спросил: «Ну и что ж я из этого всего могу дать своим читателям? Вы поясней чего-нибудь не можете сказать?»

Удивительно: провалилась вся моя эта речь в глухоту, в немоту, как неслышанная и несканная. Через четыре года её же, те же мысли сводя в тот же купол, произнёс я в Гарварде – она взорвалась на всю Америку и на весь мир. Очень неравно в западном мире – где именно произнести или печататься. И даже из рафинированных стран Европы, как Франция

⁴⁶ Инесса Арманд и Григорий Зиновьев – революционеры, соратники Ленина. Детали этого эпизода см. в гл. 43 «Октябрь Шестнадцатого» (Собр. соч. Т. 10. С. 89–102).

⁴⁷ Слово при получении премии «Золотое клише» Союза итальянских журналистов (31 мая 1974) // Публицистика. Т. 1. С. 195–198. (В позднейших изданиях опубликовано под названием «Орбитальный путь».)

или Англия, в Америку проникает плохо. Но сказанное в немудрящей Америке – почему-то громко летит на весь мир. Анизотропная среда, как физики говорят.

А именно в Америку, даже за почётным гражданством, я в тот год и не поехал, сберегая время и простор себе для возобновления работы наконец.

Неумело, разбросанно, нервно, в запуте прожил я на Западе свои первые месяцы, да и весь год сплошных ошибок, тактических и деловых. И утешенье было только: уезжать из этого Цюриха – да писать. Пытаться – писать.

Не самое лучшее место для уединения был Штерненберг: стояла дача Видмеров на узком гребне между двумя горными чашами, и с одной стороны к дому вплотную лепилась автомобильная дорога, правда с редким движением, а с другой, под самыми окнами, шла пешеходная тропа для осмотра красот, и каждую субботу-воскресенье и каждый праздник (а их, после СССР казалось мне, в Швейцарии поразительно много) шли и шли швейцарцы, в шерстяных чулках до колен, парами, компаниями, гурьбами, от стариков до школьных классов, – и не только мешали мне движеньем и разговорами, но и засматривали в окна. Чтоб не работать в жарких комнатах, устроил я стол под вишней – но и то место было под надзором тропы. А ещё это всё размещалось на альпийском лугу, и несколько раз в лето сгоняли меня шумом при косьбе, ворошении сена и уборке. Однако сельский труд добрых соседей своей разумностью и неутомимостью укреплял мир души, не мешало рабочее их движение, навозный полив лугов, обдающий крепким запахом, неумолкаемый звон коровьих колокольцев и даже шум трактора.

Особенно светло действовал вид с высоты. В обзорном глядении сверху и далеко вниз, а особенно повторительном, ежедневном, ежеутреннем, есть что-то очищающее душу и просветляющее мысль. Простое стоянье и осмотр – уже есть работа души и ума. И облегчается задача оценить свою минувшую жизнь и преднаметить будущую. Одна чаша, удивительной красоты, сочетание круто спадающего луга, лесных клиньев и островков, извитых рабочих колеи, рабочих строений, была постоянно под моими глазами, лишь перевести вперёд с листа бумаги. А особенно удивительны были в этом вертикальном пейзаже игры туманных полос или обрубленных радуг. Ко второй объёмной, обширной чаше надо только дом обойти, это был пространственный швейцарский вид с далеко разбросанными хуторами, как птичьими гнёздами. А прямо над нами, близко, сторожила манящая крутая высота, богатая для глаза (лазил туда я за год всего лишь раза три, один раз с о. Александром Шмеманом, нашли там дот швейцарской армии). Километрах в пяти высилась наибольшая тут вершина Хёрнли, в цепи других, не на много меньше. А кусок пешеходной тропы над ещё третьей, соседней, чашей был моим излюбленным «капитанским мостиком». Когда было не ждать гуляющих, я, по тюремному обычаю, ходил по этой тропе туда-сюда, туда-сюда, вбирая себе ясности и разума то от верхнего вида, то от нижнего – от горного прорыва в долину речёнки Тёсс, где иногда промелькивали вагончики поездов и каждый вечер светились одни и те же несколько неподвижных огней посёлка. Ещё особую игру этим трём чашам придавала луна, ежедневно изменяемая в форме и сдвигаемая по небу на час. И уж ни на что не похож был вечер 1 августа – швейцарской независимости, когда вспыхивает огромный костёр на вершине Хёрнли и там и сям костры поменьше, горы переключаются дрожащими огнями, а в долинах до полуночи хлопушки, стрельба. Стояла и так моя кровать в доме, что первый взгляд утра через распахнутое окно всегда был на дальние горы; глубина и высота видимых гор менялась от ясности прозора, но в лучшие чистые утра первооткрытыми глазами я видел сразу снеговые Альпы.

Отец Александр Шмеман провёл у меня тут чуть не трое суток. Это было первое наше свидание, после тех его великолепных радиопроповедей по «Свободе», которые я лавливал в СССР. Много-много переговорили мы тут с ним – о духовном, о положении православной Церкви, разбитости на течения; об историческом, о литературе (помню его острое замечание о внутренней порче Серебряного века: добро ли, зло, – «есть два пути, и всё равно, каким

идти»⁴⁸). Много ходили по откосам. Помню, лежали на траве над одной из чаш – он закинулся в проект, как бы нам устроить свою русскую радиостанцию? (Поработал он на «Свободе» – слишком стала *не та* и *не то*.) О, ещё бы нет! Это было бы подейственной «Континента»! Да только кто же даст для русских десятки миллионов долларов?

День ото дня я в Штерненберге здоровел и телом и духом. И спрашивается, как же *они* могли меня выслать? Сами устроили мне Ноев ковчег – переждать их потоп. (Сдали их нервы после сентябрьского встречного боя, после моей январской контратаки, и всё ж – на виду у Запада, а с Западом нужна разрядка, усумнились они в своём всемогуществе.) И вот теперь, в 55 лет, я смотрел, смотрел в эти три чаши: уже прокричал я правду о нашей послереволюционной истории – и удалось? и даже выше мечты? Из-под бетонных плит пробился слабенький стебелёк, и бетонная хватка могучего насилия не смогла его размозжить; и отравные испарения самой настойчивой в мире лжи не смогли задушить. С Божьей помощью – жизнь уже удалась.

Теперь заработал я и право заниматься чистой литературой? И русской историей?

Всё ж на «капитанском мостике» бодро вышагивал я разные проекты. И проект нашего окончательно решённого переезда в Канаду. И проект: устроить в Канаде Русский университет? Я ещё не начинал знакомиться с русской эмиграцией, но любил её уже давней, многолетней любовью как хранительницу наших лучших традиций, знаний и надежд. Я годами воображал её большой человеческой силой, которая всё сбережёт и когда-нибудь исцеляющим вливанием отдастся нашей стране. И я – вышагивал и записывал проект Университета, у меня он так и сохранился. И факультеты. (Кроме широко гуманитарных, с отечественной традицией, непременно и – освоение пространств без гибели их, инженеры земли, и ведение народного хозяйства с западным опытом.) Уплотнённая программа, каникулы – месяц, хватит, а ещё месяц – работать для русского рассеянья. Стипендия, но для умеренного образа жизни. А потом бы – при университете открыть и русскую школу-десятилетку, с программами не оторванно-эмигрантскими, но и не искажённо-советскими. Я всеми мерами хотел бы укрепить будущих воспитанников, пробудить от западной убогостворённости, обратить к суровости родины. На это тоже хотел я положить деньги созданного мною Фонда.

Я ещё не представлял нынешней слабости эмиграции, её растёка этнического, что после шестидесяти лет *нету* тех слоёв, из которых бы набирать учеников, и никто так строго учиться не захочет, никто не примет на себя суровости добровольно. А по нынешним реальным силам эмиграции – можно бы набирать только из Третьей, однако не для того же бежавшей из «этой страны», чтобы в неё вернуться.

Да и – денежно такого Университета не вытянуть.

В Штерненберге я сосредоточился писать – скорее убедиться, что эту способность не потерял в изгнании. Не так я много в это лето написал (отрывался, часто ездил в Цюрих, к Але, к семье) – Четвёртое Дополнение к «Телёнку» да начал «Невидимки»⁴⁹.

И думал: ну всё, больше писать «Телёнка» не придётся: если писатель уже не бездомен, не должен гонять от чужого крова к чужому, рукописи свободно лежат в разных комнатах, в тревоге не прячутся при каждом стуке, и начало с концом можно сравнить на столе, а окончив – не надо зарывать в землю, – так, по советской мерке, *очерки литературной жизни* и кончились?? неудобно бы их и продолжать? Такую концовку я думал приставить после «Невидимок». О, не знаешь, что ждёт впереди. По западной мерке – опять вот *очерки* потекли, и совсем неожиданные, в новом направлении.

⁴⁸ ...«есть два пути, и всё равно, каким идти»... – строки из стихотворения Н. М. Минского «Два пути» (1900).

⁴⁹ Четвёртое Дополнение «Телёнка» составляет одна глава – «Пришло молодцу к концу», в ней описаны события, предшествовавшие высылке Солженицына (январь-февраль 1974). См.: Бодался телёнок с дубом // Собр. соч. Т. 28. С. 367–426. Пятое Дополнение («Невидимки») состоит из 14 очерков, где воздаётся дань памяти и благодарности друзьям и соратникам Солженицына, чья помощь опальному писателю была связана с немалым риском (упомянуто 115 имён), см.: См.: Бодался телёнок с дубом // Собр. соч. Т. 28. С. 427–622.

А снова за «Красное Колесо» не мог приняться – значит, сотрясение глубже, чем я сознавал. В растерянности то брался писать воспоминания о давних днях своей жизни, то повышенно много работал над случайной попутной публицистикой да над письмом Собору Зарубежной Церкви⁵⁰. К осени принимался за Ленина, тоже не очень сдвинул. Однако здешняя горная (почти – горная...) объёмность и мудрость быстро возвращали меня в рабочую форму и успокаивали, что писать я тут буду несколько не хуже, чем в России, – пока ещё налёживается во мне уплотнённый жизненный русский опыт.

А 27 июля героический – а для меня легендарный, я его до сих пор не видел – норвежец Нильс Удгорд, крупноростый, добрый, умный, с женой Ангеликой, привёз нам вторую часть архива. (Осенью пришла третья, последняя и самая объёмная партия – от Вильяма Одома, через Соединённые Штаты. А мою «революционную» библиотеку перевёз Марио Корти. Так к октябрю я был собран весь.)

Удгорды поехали к нам в Штерненберг – и только там мы с Алей впервые узнали, как же был спасён и двигался архив «Красного Колеса», – о чём и в «Невидимках» (очерк 13) я умолчал, по тогдашней просьбе участников.

В том доверенном письме от Али 14 февраля 1974 было написано: «Прошу считать г. Нильса Удгорда моим полномочным представителем для сношений с послом ФРГ в СССР». И на следующее утро, 15 февраля, Удгорд написал на имя западногерманского посла Ульриха Зама (Sahm) письмо, по-английски: что говорил с женой Солженицына, та боится за сохранность архива и удастся ли его вывезти. По-видимому, западногерманское правительство помогло советскому отправить Солженицына за границу. Это возлагает на ФРГ моральное обязательство помочь ему. (И возможный объём архива был указан в письме: примерно два чемодана.)

Отлично это было нацелено и обосновано. Сам Ульрих Зам, хотя, вероятно, и сочувствовал мне (это он через Ростроповича тайно сговаривал нашу встречу с Гюнтером Грассом в Москве в сентябре 1973, потом испугался размаха травли, послал Грассу совет не приезжать, был публично им опозорен: «наш посол в Москве состоит на службе у германского или советского правительства?» – а не мог отвечать), – сочувствовал, но и: мог ли он действовать самостоятельно? да к тому ж, говорят, он был и личным другом Брандта. Удгорд не сомневается, что Зам запросил или хотя бы предупредил своё министерство иностранных дел.

Жена Удгорда Ангелика тотчас отвезла и отдала письмо дежурному чиновнику германского посольства. (Она – немка, Германия была и для Удгорда как бы второю родиной, очевидно, и в западногерманском посольстве знали их.) На тот же вечер Удгорд получил приглашение присутствовать на концерте посольского хора, устроенном на дому у советника посольства – третьего по значению в посольстве лица. Приёмы опытных дипломатов! – советник ни во что посвящён не был. Ему было поручено только: пригласить этого скандинавского корреспондента и дать ему прочесть странную, без обращения и без подписи, записку посла (после чего вернуть её автору):

1. Согласен.
 2. Только два чемодана.
 3. Только через начальника и его заместителя.
- Вы понимаете? – спросил советник.
- Удгорд кивнул.

Так – архив «Красного Колеса», революции, все события которой потянулись от той безрассудной, взаимно пагубной войны с Германией, – именно Германия мне и спасла!

⁵⁰ Третьему Собору Зарубежной Русской Церкви (Август 1974) // Публицистика. Т. 1. С. 199–214. Письмо написано в июле-августе 1974 года в ответ на приглашение Синода Зарубежной Русской церкви приехать на Собор в Соединённые Штаты – взамен приезда. Прочтено на одном из заседаний Собора (Джорданвилл, штат Нью-Йорк, сентябрь 1974).

Так – забываемо мы теперь побеседовали «не под потолками» и вернулись в Цюрих, где уже могли быть «потолки».

И что ж? – теперь-то и засесть писать? Э нет! Э нет. Тряска и дёрганье продолжались всё лето.

Вдруг в июне сообщают мне по телефону, что в Женеве на территории ООН властями её запрещена продажа французского и английского «Архипелага» – как книги, «оскорбляющей одного из членов ООН». Очень громко можно было вмешаться, в таких случаях рука моя сразу тянется к бумаге, и черновик заявления готов через 10 минут: «Генеральному секретарю Вальдхайму. Считаете ли вы предосудительным оскорбить правительство и допустимым оскорбить целый народ? Я ждал бы, что ООН не запретит эту книгу, а поставит её на обсуждение Ассамблеи. Среди обсуждаемых ею вопросов не часто встречается уничтожение 40–45 миллионов человек». Но... Нет. Не самому автору книги защищать её. Надо научиться и молчать. Протест как-то без меня. И протекло – печатали газеты, как-то компромиссно исправилось потом.

Летом – получаю частное письмо из Израиля: караул! почему так дорого продаётся русский «Архипелаг», недоступно купить. Да что такое, да ведь я же всем издателям поставил условие низкой продажной цены! чтобы весь мир читал! Но вишь – транспортировки, какие-то торговые наценки, прибыли книжных продавцов, – и вот книга опять дорога. В горячности шлю письмо в израильские газеты [[см. здесь](#)]. Книжные торговцы там очень возбудились, по своим расчётам они оказывались правы, и хотели в суд на меня подавать (антисемитизм!), да удержало общее моё положение первого года.

И тогда же, в конце лета, узналось про случай с рязанкой Светланой Шрамко – благодаря её редкой настойчивости прорвалось, а то ведь из Рязани и знать не дашь, всё глухо. Протестовала она против той самой отравы от завода искусственного волокна, которая невидимым сладковатым шлейфом травила целую полосу города, и меня тоже – в моём ближнем сквере и через форточку в квартире. Но я вот не протестовал, а она, безвестная, беззащитная, – посмела! Как было мне теперь не подать ей помощи своим голосом? Послал письмо в «Нью-Йорк таймс»⁵¹. Там ещё долго перебирали, больше месяца не печатали – а когда и напечатали, так что? Помогло ли это Светлане хоть чуть? И что с ней будет дальше? Долго мы этого не узнаем, или даже никогда...⁵²

А тут – Ростропович, с обычной стремительностью, привёз ко мне австрийского кардинала Кёнига. Зачем? В чинной беседе кардинал объясняет мне неизбежность союза моего с католической Церковью в борьбе против коммунизма. Еле отдышиваюсь: да отпустите ж душеньку, не могу я разорваться.

А тут – после интервью Си-би-эс неудачливый в нём переводчик Дэвид Флойд, корреспондент «Дейли телеграф», стал теперь писать мне, и приезжал – и говорил, что другой мечты в своей жизни не имеет, как переехать бы ко мне и стать моим секретарём. Я отклонил. Тут он стал уговаривать встретиться с польским эмигрантом Леопольдом Лабедзем, который жаждет создать Международный трибунал, судить советских вождей.

Я уже пробыл в изгнании с полгода и понимал, что при всей моральной правоте и заманчивости такого Трибунала его невозможно создать вопреки силам, ветрам, течению истории: в отличие от нацизма – никто никогда не будет судить коммунизм, а значит, не собрать ни обвинителей, ни суда. Всё это мне было уже понятно – но имел я слабость согласиться на встречу: так трудно привыкнуть к полной свободе жизни и усвоить золотое правило всякой свободы – стараться как можно меньше пользоваться ею.

⁵¹ Не дадим погибнуть Светлане Шрамко (23 августа 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 123–124; На английском: *Solzhenitsyn A. How things are done in the Soviet provinces: letter to the editor* // New York Times. 1974. 30 Sept. P. 34.

⁵² В 1991 узнал, письмо от неё: много мучили её, много преследовали, а уцелела. – *Примеч.* 1993.

Встретились. (Флойд настоял присутствовать непременно.) Поговорили впустую. Сколько мог, я убеждал Лабедзя, что – не созрело, нековременно, сил не собрать, опозоримся. А он – горел и хотел меня видеть в главных организаторах и приглашителях. Я не согласился.

Разъехались ни на чём. Прошло месяца полтора – вдруг в западногерманском «Шпигеле» сообщение⁵³: высланный с родины Солженицын не хочет удовлетвориться только писанием книг, а хочет – непосредственно делать политику, для этого он организует Международный трибунал *против своей родины* (!), Советского Союза. Солженицын планирует открытый показательный процесс от Ленина и, возможно, до Брежнева. Обсуждения состава уже начаты. Нобелевский лауреат первоначально имел идею: предоставить судейские места только пылким противникам режима, – но оставил её не в последнюю очередь под благодетельным влиянием своей супруги *Наташи Дмитриевны*.

Я – как ужаленный: ну что за гадство? Ну что такое эта пресса? Ну как можно жить среди этих чудовищ: ни слова правды!

Как раньше «Штерн» мне плюнул в лицо⁵⁴, так теперь «Шпигель», два сапога – пара. Мне – досадно, мне – позорно: и – невыполнимая же затея, и – разве этим я сейчас занят, разве не к одному писанию лежит душа? Но теряю время, теряю спокойствие – теперь надо отмыться, оправдываться. Прошу Хееба написать в «Шпигель» протест, требовать опровержения. Он пишет что-то маловыразительное. Через день же с искровой быстротой приходит ответ ему от главного редактора Рудольфа Аугштайна: «Мы в состоянии доказать перед судом, что ваш мандант проводил такие собеседования, которые не могли остаться тайными и представляют мировой интерес. И никогда мы не сделаем опровержения тому, что считаем истинным. Спор об этом не послужил бы на пользу Вашему манданту и самому делу. Мы не видим основания для гнева Вашего манданта, тем более что он уже совершал тяжелейшие ошибки, даже такие, которые могли быть без труда избегнуты». Не понимаю, о чём и говорит, но тон угрозы по грубости – не легче советского. «Мы не разрешим Вашему манданту диктовать нам, что правда, а что неправда».

Даже нельзя понять источник такой накопленной ненависти – что я им сделал? чем поперёк дороги? И вот что ж – хоть иди на суд! Готов. Хоть с этого начинай западную жизнь, тьфу!

Написал резкий ему ответ, доводя до самой грани столкновения [[см. здесь](#)].

И редактор Р. Аугштайн очнулся (может – проверил своего информанта, а тот попятился) – и в следующем номере «Шпигеля», явно отступая, напечатал моё письмо – и в русской копии, и в немецком переводе, – таким образом всё было сказано моим языком и в самых сильных выражениях. (Сохраняя лицо, он добавлял, что если я буду требовать опровержения – а теперь зачем? – то он «сделает соответствующие шаги».) При моей неспособности вести тяжбу, найти время – я считаю, что этот конфликт кончился очень благополучно. А мог бы ещё сколько помотать душу, совсем отрывая от работы.

Этот конфликт я выиграл, можно сказать – по неопытности: я ещё не понимал, как от небывалой обретенной свободы вполне можно сбиться и на суды. Вскоре за тем получив сведения, что в Италии готовится публикация моих фронтовых писем к первой жене (они все остались у неё), и даже факсимильная, и не считаясь, что я жив, – я неосторожно дёрнулся к суду, привёл в движение адвоката. Но первичный итальянский суд признал, что печатать письма без разрешения – можно! Адвокаты заманивали меня вести юридический процесс дальше – но тут я очнулся. В моём положении проще заявить вслух и не судиться [[см. здесь](#)]. (От этой пуб-

⁵³ Der Spiegel. 1974. 18 Nov. № 47. S. 130–133.

⁵⁴ В разгар травли Солженицына в СССР гамбургский журнал «Штерн» напечатал полную искажений и вымыслов статью о родителях и дедах писателя (*Steiner D.* «Eine Familie von Flegeln...»: Krach um Alexander Solschenizyns Roman «August 1914» // Stern. 1971. 18 Nov. S. 104–110). Статью тут же перепечатала «Литературная газета»: Журнал «Штерн» о семье Солженицыных / [Послесл. ред.] // Лит. газ. 1972. 12 янв. С. 13. Реакцию Солженицына см.: Бодался телёнок с дубом // Собр. соч. Т. 28. С. 313–315 (гл. «Нобелиана»), 677–681 (Прилож. 24).

ликации отказались ли все издатели, или само КГБ потом: в моих письмах слишком многое свидетельствовало и в мою пользу, а гебистам нужен был эффект односторонний.)

Конечно, все мои колебания между страстью тихого писания и страстью к политическим выпадам – они в моём темпераменте, без того я не попадал бы на такие разрывы. И всё же считаю, что я на Западе справился, не поддался политическому водовороту. (Впрочем – это скорее по инстинкту, а я тогда ещё не соразмерял ясно, насколько ничтожны физические силы наши и объём времени – против всего Несделанного.)

Тем летом утверждался в Берне созданный мною Фонд, всё это шло через Хееба, я и поселе не имел времени вникнуть в его действия. Сперва – благополучно и быстро утвердили, и название: «Русский Общественный Фонд». Но вскоре, видимо, чьи-то чиновничьи души зажал страх: ведь такое название – это не вызов ли Советскому Союзу? не намёк ли здесь, что русские общественные дела текут как-то помимо советского правительства? Нет, название недопустимое. «Фонд помощи политзаключённым», предложили мы. – Ни в коем случае! Слово «политический» неприемлемо для нейтральной Швейцарии. И потянулась торговля. Кое-как убедили мы, пусть так: «Русский Общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям». (Название обрезало культурные и созидательные задачи Фонда, но в Уставе они есть. Пока сидим за границей – пусть звучит так, что поделаться?)

К осени – всё же потекла у меня работа в Штерненберге. Радость какая, я больше всего и боялся: а вдруг за границей – да не смогу писать?

Не тут-то было! В сентябре 1974 Владимир Максимов звонит мне тревожно в Цюрих. Передатный звонок Али застиг меня в Штерненберге в тихий осенний день, когда так хорошо работается, – просит моего заступничества Сахарову: Жорес в Стокгольме назвал Сахарова «едва ли не поджигателем войны» и возражал против Нобелевской премии мира ему. На свой личный бы ответ Максимов не полагается, а, мол, только мой голос может быть услышан, и т. д. Как всегда, в таких поспешных нервных передачах и нервных просьбах отсутствует прямая достоверность, отсутствует текст, стенограмма – да когда их добудешь? – а вот надо протестовать! помогите! ответьте! за смысл – мы ручаемся! (А всё вздул стокгольмский член НТС, и вполне возможно, что с перекосом.)

Ах, как больно отрываться от работы! Но и – кто же защитит Сахарова, правда? После прежних подножек Сахарову от братьев Медведевых – сразу верится, что и эта – произошла, так. В действиях этих братьев, правда, элементы спектакля. Рой остался в Союзе как полулегальный вождь «марксистской оппозиции», более умелый в атаке на врагов режима, чем сам режим; а Жорес, только недавно столь яркий оппозиционер и преследуемый (и нами всеми защищаемый), – вдруг уехал за границу «в научную командировку» (вскоре за скандальным таким же отъездом Чалидзе, с того же высшего одобрения), вослед лишён советского паспорта – и остался тут как независимое лицо; помогает брату своему захватывать западное внимание, западный издательский рынок, издавать с ним общий журнал и свободно проводить на Западе акции, которые вполне же угодны и советскому правительству. Да братья Медведевы действовали естественно коммунистично, в искренней верности идеологии и своему отцу-коммунисту, погибшему в НКВД: от социалистической секции советского диссидентства выдвинуть аванпост в Европу, иметь тут свой рупор и искать контактов с подходящими слоями западного коммунизма.

Роя я почти не знал, видел дважды мельком: при поразительном его внешнем сходстве с братом-близнецом он, однако, был малосимпатичен, а Жорес весьма симпатичен, да совсем и не такой фанатик идеологии, она если и гнездилась в нём, то оклубливалась либерализмом. Летом 1964 я прочёл самиздатские его очерки по генетике (история разгула Лысенки) и был восхищён. Тогда напечатали против него грозную газетную статью – я написал письмо ему в поддержку, убеждал и «Новый мир» отважиться печатать его очерки. При знакомстве он произвёл самое приятное впечатление; тут же он помог мне восстановить связь с Тимофее-

вым-Ресовским, моим бутырским сокамерником; ему – Жорес помогал достойно получить заграничную генетическую медаль; моим рязанским знакомым для их безнадежно больной девочки – с изощрённой находчивостью добыл новое редкое западное лекарство, чем расположил меня очень; он же любезно пытался помочь мне переехать в Обнинск; он же свёл меня с западными корреспондентами – сперва с норвежцем Хегге, потом с американцами Смитом и Кайзером (одолжая, впрочем, обе стороны сразу). И уже настолько я ему доверял, что давал на пересылку чуть ли не «Круг-96», правда, в моём присутствии. И всё же не настолько доверял, и в момент провала моего архива в 1965 отклонил его горячие предложения помогать что-нибудь прятать. Ещё больше я его полюбил после того, как он ни за что пострадал в психушке, я тогда публично выступил в его защиту⁵⁵. Защищал и он меня статьёй в «Нью-Йорк таймс» по поводу моего бракоразводного процесса, заторможенного КГБ⁵⁶. А когда, перед отъездом за границу, он показал мне свою новонаписанную книгу «10 лет после “Ивана Денисовича”»⁵⁷, он вёз её печатать в Европу, – то, хотя книга не была ценна, кроме как ему самому, я не имел твёрдости запретить ему её. (Вероятно, допускаю, я тут сказал ему какое-то резкое слово о Зильберберге, что знать его не знал и не поручусь, что это за личность, – Жорес грубо вывел его в книге так, что Зильберберг будто сам навёл на мой архив и тем заработал отъезд за границу, я никогда такого не предполагал, – но затем Жоресу пришлось в Англии выдержать стычки с Зильбербергом, смягчать текст, а пожалуй, всем тем – и подтолкнуть Зильберберга на его пакостное сочинение⁵⁸.) И наши общие фотографии Жорес спешил печатать, и мои письма к нему, и пригласительный билет на нобелевскую церемонию, с подробным планом, как найти нашу московскую квартиру, – от западной безопасности потерял голову сразу.

Затем вскоре стали приходить от Жореса новости удивительные, да прямо по русскоязычному радио, я сам же в Рождестве-на-Истье прямыми ушами и слушал. Вот, по поводу сцены отобрания у него советского паспорта ответил корреспонденту по-русски, я слышал его голос, на вопрос о *режиме*, господствующем в СССР: «У нас не *режим*, а такое же правительство, как в других странах, и оно правит нами при помощи конституции». Я у себя в Рождестве заёрзал, обомлел: чудовищно! Вот так эволюция! Тогда вскоре, осенью 1973, я имел оказию отправить ему письмо по «левой» в Лондон и отправил, негодующее. (Признаться, я не знал тогда, а надо бы смягчить на то: у Жореса остался в СССР сын, притом в уголовном лагере.)

Перешвырнуло меня на Запад – Жорес из первых стал называться приехать в Цюрих, и даже в первые дни. Я отклонил. Личные отношения не возобновились. И вот теперь – свидетельствует Максимов – он напал на Сахарова.

И я – сгоряча ввергаюсь ещё в одну передрагу: написать газетный ответ Жоресу на не слышанное и не читанное мною выступление⁵⁹. Только потому я писал не колеблясь, что знал, в какую сторону Жорес эволюционировал все эти месяцы.

А всё тот же Флойд берётся поместить в «Таймс». Я пишу в Штерненберге, Аля шлёт телефонами в Лондон – проходит день, второй, третий – что-то застряло, новые волнения, новые перезвоны, вдруг заявление появляется в «Дейли телеграф» в ослабленном, искажённом

⁵⁵ Текст в защиту Ж. Медведева был подхвачен самиздатом, широко печатался в западной прессе: «Безо всякого ордера на арест или медицинского основания приезжают к здоровому человеку четыре милиционера и два врача... крутят ему руки и везут в сумасшедший дом... Раз думаешь не так, как *положено*, значит, ты ненормальный! <...> А между тем даже простое благоразумие должно было бы их удержать. Ведь Чаадаева в своё время не тронули пальцем – и то мы клянём палачей второе столетие» (Вот как мы живём (15 июня 1970) // Публицистика. Т. 2. С. 39–40.) Также см.: Бодался телёнок с дубом // Собр. соч. Т. 28. С. 661, 662 (Прилож. 14); Solzhenitsyn assails detention of Medvedev in Mental Hospital // New York Times. 1970. 17 June. P. 1.

⁵⁶ Medvedev Zh. In defense of Solzhenitsyn // New York Times. 1973. 26 Febr. P. 31.

⁵⁷ Медведев Ж. А. 10 лет после «Ивана Денисовича». London: Macmillan, 1973.

⁵⁸ Зильберберг И. Необходимый разговор с Солженицыным. Forest Row (Sussex), Colchester: [б. и.], 1976.

⁵⁹ Достойный истолкователь (11 сентября 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 125–127.

виде, – значит, уже в «Таймсе» не будет, почему? «Таймс» опасается слишком прямых выражений о Ж. Медведеве, которые могут быть опротестованы через суд.

И надо сказать, что «Таймс» почувствовала верно. Жорес и через норвежскую «Афтен-постен», и прямо мне отвечал: что при его выступлении не было ни магнитной, ни стенографической записи, дословно он не говорил так, как ему приписывается, но даже и в приписываемом нет «вклада Сахарова в дело разжигания войны» – как я написал в статье на основе взбалмошной информации от Максимова. Так что, по западным правилам, Жорес вполне мог и судиться. Но правоты-то всё равно за ним не было, и он не решился. Да ведь так же он и отрицал, будто говорил для радио: «У нас в СССР не режим, а такое же правительство, и управляет нами на основе конституции», – но я-то слышал своими ушами!

Вот в таких издёргах проходит первое лето на Западе, я выкраиваю себе недели поработать в горах – и не догадываюсь, что тем временем адвокат Хееб всё безнадежнее запутывает мои дела, – мне невдомёк поинтересоваться и доспроситься.

Тем временем на английском, на итальянском, на испанском, не говоря о греческом, турецком и других, неумелые переводческие перья безнадежно портят или искажают мои книги – а мне этой проблемой некогда заняться: переводы? А что ж для писателя в моём положении важнее?

Ещё неожиданностью для меня было, какую бурю вызвало «Письмо вождям» в образцованной: и понимал я, и всё ещё не понимал глубину начавшегося раскола в отечественном обществе. «Письмо» моё бранили резко, страстно – и это было для меня свидетельством, что я сделал ход важнее, чем и сам думал, коснулся коренного. В самиздате составляли даже сборник критических статей, не знаю, печатали ли его когда-нибудь.

И в эмигрантской прессе шёл о «Письме» напряжённый спор, были и за и против. Так же неожиданно для меня выступил Михайло Михайлов⁶⁰, которого я не привык и считать участником русской жизни, но – «нашим» преследуемым союзником в Югославии, издали. А вот понятие «наши» сильно менялось и дробилось, – и Михайлов меня порастил просвечивающим сочувствием к марксизму (защищал от меня чистоту этой идеологии) и к эсерству. И «Письмо» моё объявлял антирусским и антихристианским (до сих пор обвиняли: слишком русское и православное). И всё это выносится из Сербии на мировую арену почти неправдоподобным тоном: «ну, так раз и навсегда надо [Солженицыну и его читателям] уяснить вот что», «Солженицыну не дано осмыслить собственный опыт», «ну что ж, придётся просто повторить то, что для европейской юридической мысли давно уже стало аксиомой»... И ещё более порастил Михайлов *приёмами*, которыми ведётся дискуссия: неоднократно подставляется вместо меня Владимир Осипов, а затем (ленинская ухватка) все его мысли валятся на меня вместе с «прокитайскими группировками, итальянскими неонацистами, эмигрантами-монархистами», и «Солженицын повторяет грех Ленина», и «Письмо» состоит из тех же частей, что «Коммунистический манифест». И чутко развивая намёк Сахарова: «Найдутся последователи и договорят, что Солженицын удержал про себя»...

О-го-го, какие же рогатые вырастают из славных отважных диссидентов!

А в начале октября вышел 1-й номер «Континента» – я вскипел от развязно-щегольской статьи Синявского, от его «России-суки»⁶¹. Увидел в том (и верно) рождение целого направления, злобного к России, – надо вовремя ответить, не для эмиграции, для читателей в России, ещё связь не была порвана, – и вот, сохранился у меня черновик, писал:

РЕПЛИКА В САМИЗДАТ. Как сердце чувствовало, оговорился я в приветствии «Континенту»: «пожелания нередко превосходят то, что сбывается на самом деле». Пришёл № 1. И читаем: «РОССИЯ-СУКА, ТЫ ОТВЕТИШЬ И ЗА ЭТО...» Речь идёт о препятствиях массо-

⁶⁰ Михайлов М. Своевременные мысли // Посев. Франкфурт-на-Майне, 1974. № 9. С. 33–40.

⁶¹ Абрам Терц [А. Д. Синявский]. Литературный процесс в России // Континент. Париж, 1974. № 1. С. 143–190.

вому выезду евреев из СССР, и контекст не указывает на отклонение автора, Абрама Терца, от этой интонации. 10-летнее гражданское молчание прервано им вот для такого плеска́. Даже у блатных, почти четвероногих по своей психологии, существует культ матери. У Терца – нет. Вся напряжённая, нервная, острая его статья посвящена разоблачению «их», а не «нас» – направление бесплодное, никогда в истории не дававшее положительного. Абрам Терц справедливо настаивает, что русский народ должен видеть свою долю вины (он пишет – *всю* вину) в происшедшем за 60 лет, – но для себя и своих друзей не чувствует применимости этого закона. Третьей эмиграции, уехавшей из страны в пору наименьшей личной опасности (по сравнению с Первой и Второй), уроженцам России, кто сами (комсоргами, активистами), а то отцы их и деды, достаточно вложились уничтожением и ненавистью в советский процесс, пристойней было бы думать, как мы ответим перед Россией, а не Россия перед нами. А не плескаться помоями в её притерпевшееся лицо. Мне стыдно, что идея журнала Восточной Европы использована нахлынувшими советскими эмигрантами для взрыва сердитости, прежде таймой по условиям осторожности. Мы должны раскаиваться за Россию как за «нас» – иначе мы уже не Россия.

Не помню почему, но в Самиздат, в СССР, не послал. Вероятно потому, что подобное предстояло вскоре сказать при выпуске «Из-под глыб».

Но вот так – характерно чётко, уже на первых шагах, прорисовалась пишущая часть Третьей эмиграции, – и куда ж ей хлынуть, как не в открывшийся «Континент»? В следующие два-три года он станет престижным пространством для их честолюбивого скученья, гула, размаха рук (и для такого, что невозможно тиснуть в первоэмигрантских изданиях). Впрочем, противобольшевицкую линию Максимов выдерживал вполне.

За август я преодолел опасную отвычку, отклон от «Колеса»: ведь с бурной осени 1973, в нарастающей тряске, я уже не работал с полной отдачей. В Штерненберге постепенно устоялось душевное настроение и мысли. Взял недоконченный «Октябрь», теперь так обогащённый цюрихскими ленинскими подробностями, это собиралось замечательно (и детали о цюрихских социалистах, и даже метеосводки по Цюриху за любой день октября 1916 или февраля 1917, не надо придумывать погоду), – так уткнулся в новую трудность. В предыдущие годы, планируя «Колесо» по Узлам и стремясь скорей прорваться к Февральской революции, я решился пропустить весьма-таки узловый, «узельный» август 1915: с катастрофическим отступлением русской армии, созданием буйного Прогрессивного Блока, его яростной атакой на правительство, уступательной перетасовкой министров и мучительным переёмом Верховного Главнокомандования царём, да там же и Циммервальдская конференция. А теперь, в октябре 1916, допущенный мною пропуск сильно давал себя знать: требовал вставки многих ретроспекций, и настолько сильно требовал, что я кардинально заколебался: да не вставить ли «Август Пятнадцатого»? Но стал смерять, сколько же других – исторических и личных – линий придётся перестраивать? нет, это ещё худший разлом. Остался при прежнем плане Узлов – и теперь готов был уверенно вести в «Октябре» сюжет о Ленине. А число возможных тут ленинских глав нарастало лавиной. (Увы, уже не существует тот ресторанчик «Штюссихоф», где заседал ленинский «Кегель-клуб», – ищем с Алей сходный другой ресторан, с такими же фонарями на деревянных столбах.)

Наконец осенью, после Штерненберга, мне кажется, что мы с женой заработали право четыре дня поездить по Швейцарии. Маленькая Швейцария, а для нас как огромная, мы нигде ещё не были, кроме той моей поездки с Видмером к Фурглеру.

По ровной части маршрута – опять на Берн, большой дорогой, затем на Лозанну и Женеву – мы поехали с Алей вдвоём с тем, что потом, через горы, нас поведёт Видмер. Переезд во французскую Швейцарию прошёлся по сердцу мягкостью: сразу как отвалилась та нахохленная чопорность, которую в Цюрихе мы уже и не замечали. Округа Берна и округа Женевы – как две разные страны, трудно поверить, что они в одном государстве. Женева – чем-то умягчает сердце изгнанника, вероятно, не так тяжело переживать здесь и годы. Поехали мы путе-

шествовать, а головы были полны покинутыми заботами, и путешествие не казалось приятной реальностью, но какой-то сон. И в Лозанне, в приозёрном парке, бродили, как не понимая, будто ещё не совсем придя в себя от перелёта из Москвы, наши мысли и привычки не успевали за передвижением тел. Да все эти восемь месяцев мы как будто ещё и не жили нигде, ни к чему не прикрепись, – а вот уже за океан собирались.

В Монтрё, на восточном берегу Женевского озера, почти на ощупь мы попали к замку Шильонского узника. Туда, после закрытия решётчатых ворот, не пустили бы нас – но немецкие экскурсанты узнали меня через ворота и стали со смехом кричать, что я – из их группы. Замок на малом островке, внутренние каменные дворики, вот и цепь для приковки узника к стене, уж и не та и в том ли месте? – но отзывает зэчское сердце: как легко устраивается тюрьма, непроницаемая для одних, легко-прогулочная для других! В детстве по многу раз читал я все свои домашние книги, так и поэму Жуковского⁶². Как-то грезилось это всё намного мрачней, грозней, и волны не озёрные, – и вдруг невзначай вступаешь в грёзу, с комичным эпизодом непусканья. Эти жизненные повторы, всплывы, замыканья жизни самой на себя – до чего мы их не ждём, и сколько ещё встреч или посещений наградят нас в будущем. (В России бы!..)

В Монтрё же предполагалась встреча с Набоковым, однако, по недоразумению (он как будто ждал нас в этот день, но не прислал условленного подтверждения, мы ещё и с дороги проверяли звонком домой, в Цюрих), оставалось нам миновать его роскошную гостиницу. (А как странно жить постоянно в гостинице.)

Я жалел, что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел. Я всегда считал его писателем гениальным, в ряду русской литературы – необыкновенным, ни на кого не похожим. (Непохожим на предшественников. Но первое знакомство с его книгами ещё не предвещало, сколько возникнет у него последователей: во второй половине XX века эта линия оказалась весьма разработочной. Ещё тогда не видно было, насколько полное течение родится вослед ему.) Сетовал я, ещё в СССР: зачем не пошёл он по главной дороге русской истории? вот, мол, оказался на Западе – выдающийся и свободный русский писатель, тотчас после революции, – и отчего ж он – как и Бунин, как и Бунин! – не взялся писать о гибели России? Чем другим можно было жить в те годы? Как безценен был бы их труд, недоступный уже нам, потомкам! Но оба они предпочли дороги частные и межвременные. Набоков покинул даже русский язык. Для тактического литературного успеха это было верно, что могла обещать ему эмиграция на 40 лет вперёд? Он изменил не эмиграции – он уклонился от самой России.

Ещё из СССР в 1972 году я «по левой» послал письмо в Шведскую Академию: пользуясь правом лауреата, выдвинул Набокова на Нобелевскую премию по литературе⁶³. И самому Набокову послал копию при письме [см. [здесь](#)]. Я понимал, что Набоков уже в пожилом возрасте, что поздно ему себя переделывать, – но ведь и родился и рос он у ствола событий, и у такого нерядового отца, участника тех событий, – как же быть ему к ним равнодушным?

Когда я приехал в Швейцарию – он написал мне дружественно. И в этом письме было искреннее: «Как хорошо, что дети ваши будут ходить в свободную школу». Но, по свежести боли, покорило меня. Я ответил, тоже искренне: «Какая ж это радость, если большинство оставшихся ходят в несвободную?»

Вот так бы, наверное, шёл и диалог между нами, если бы мы встретились в Монтрё. Русло жизни нашей глубеет с годами – и всё меньше нам возможностей перемениться, выбиться в

⁶² Имеется в виду «Шильонский узник» В. А. Жуковского (1822) – переведенная им романтическая поэма Дж. Байрона «The prisoner of Chillon» (1816).

⁶³ ...выдвинул Набокова на Нобелевскую премию... – Солженицын писал в Шведскую академию: «Присуждение премии Набокову, по моему уверенному убеждению, укрепит и возвысит сам институт Нобелевских премий. <...> Это писатель ослепительного литературного дарования, именно такого, которое мы зовём гениальностью» (Шведской Королевской академии (12 апреля 1972) // Публицистика. Т. 2. С. 43–44).

иное. Окостенел на избранном пути он – да ведь и я костенею, мне бы тоже, ах, когда-нибудь испробовать руслом другим! А вряд ли когда удастся.

Дальше поехали мы долиной верхней Роны – невядалеке от Рарона был ещё один домик Видмеров, где и ждали они нас. Холодноватым солнечным вечером эта старинная долина с наслоенными вековыми цивилизациями, и античной и европейской, как бы вечно обитаемая, сколько вертится Земля, и каждый придорожный камешек, черепок, пенёк – свидетель веков и веков, – произвела величавое впечатление: неистираемая культура, не вовсе ушедшие предки, неуничтожаемая земля! (Вот например, в это – как хотелось бы! и когда? – мне окунуться?) На скале как крепостца стоит малая церковь, и подле стены её – отдельная, одинокая могила, вся в тёплом жёлтом заливе закатного солнца. Чья же? Мы с Алей были потрясены и награждены: Райнера Рильке! (Хотя умер он подле Монтрё.)

Благоговейно стояли мы, в долгом закате. Вот где привелось. Он выбрал себе эту долину и эту скалу – можно понять! Выбор могилы – когда он есть – он многое может выразить.

С Видмерами пошли навестить милейшего старого пастора, который когда-то их венчал. Переночевали в их строгом каменном доме такой старобытной и несогреваемой постройки: по кладке, по дугам, по выступам – ну веков пять ему, не меньше.

А дальше вёз нас твёрдыми руками Видмер – моего автомобильного опыта тут бы не хватило. По Швейцарии не так легко проложить маршрут, не всегда прокатишь прямо. Пришлось переваливать Симплон, там начался снег, ехать нельзя, машины скользят, все ждут. Привезли, насыпали на весь южный спуск песка, тогда поехали. Ниже снег превратился в проливной дождь. Въехали на несколько часов в Италию – всего лишь, чтобы пробраться покороче в южную часть Швейцарии. (А несколько дней оформляли визы на эти несколько часов; и итальянские пограничники тут задержали нас на добрых полчаса безо всяких объяснений, оказалось: бегали за моими книгами, получить автограф.) Через Домодоссолу проехали к Лаго Маджоре, на берегу его нас пригласили в частную староитальянскую виллу. (Тучевой мрачный день, полутёмные богато убранные комнаты, и хозяйка с дочерьми, угасающий знатный род, чувствовали себя обречёнными на конфискацию коммунистическим правительством, которое вот-вот всеми тут ожидалось. От тени коммунизма всё в вечной Италии казалось временным.) В тот день уже не видели доброго, лило и грязно, а наутро опять солнце – и мелькали, путаясь, Локарно, Лугано, – как видели их, и как не видели, Мокоте с возвышенным кладбищем над голубым озером, и назад на север, снова возвышаясь, Сен-Готард закрыт, машина вкатывается на поездную платформу, а на северном выходе из туннеля ещё поднимаемся выше посмотреть леденящий суворовский Чёртов мост, да в погоду холодную, мрачную, – незабываемо! На скале – выбито по-русски, выпуклые крупные буквы, старым стилем:

**Доблестнымъ сподвижникамъ
генералиссимуса фельдмаршала
графа Суворова-Рымникскаго
князя Италійскаго,
погибшимъ при переходе черезъ Альпы въ 1799 году**

Действительно богатыри! – что скажешь! И можно только изумляться Суворову: в горной стране, куда на зиму безголово загнал его капризный австрийский Гофкригсрат, при небрежении Павла, – в этой стране, глядя на зиму и вдали-вдали от родины, – воевать и не проиграть! (А русские косточки-то как жаль! А – зачем его гоняли сюда? – вся война лишняя.)

Всего четыре дня дома не были, а уже и новости, по радио: американский Сенат единогласно избрал меня почётным гражданином Соединённых Штатов! Позже пришла официальная бумага – и я ответил письмом⁶⁴.

⁶⁴ Сенату Соединённых Штатов Америки (30 октября 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 128–129; Letter from Solzhenitsyn to

Я сам не знал, зачем оно, это избрание, но тогда казалось важным. Во всяком случае – могло помочь моему делу и сильно перчило Советам. Однако это прекрасно понимал и Киссинджер. Процедура требовала теперь подтверждения Палаты представителей, и звание будет решено. Госдепартамент задержал обсуждение в Палате. (Тем временем переизбран Сенат. Потребовалось вторичное утверждение изменённым Сенатом. Оно всё же произошло весной 1975. Но тогда Киссинджер снова затормозил, известен пространный об этом документ Госдепартамента: это испортит отношения с Советским Союзом.)

Неудача с моим почётным гражданством в США – такая же закономерность (и такая же благая), как когда-то неудача с ленинской премией в СССР: я не ко двору обеим системам, вот и находятся вовремя противодействующие силы.

Теперь пришлось выступить по швейцарскому телевидению. Придумали они, чтоб я по-немецки читал кусок «Архипелага». Затем какие-то малозначащие вопросы, а дошло до самого лакомого – почему я выбрал Швейцарию? – тут истекло время прямого эфира. (К моему опять же облегчению. Чтб говорить, когда ничего мы ещё не выбрали, нигде ещё не живём, тайно решён отъезд.)

В эти месяцы я должен был доделать важные дела, которые тянулись ещё с родины: напечатать горько-неоконченное исследование покойной И. Н. Томашевской о «Тихом Доне» и совместно с моими соавторами, Шафаревичем, Борисовым, Барабановым, Агурским, Световым («Корсаковым»), Поливановым («А. Б.»), объявить одновременно в Москве и в Европе наш сборник «Из-под глыб».

Если бы не выслали меня в феврале, то к марту, самое позднее к апрелю, «Из-под глыб» был бы уже готов и объявлен. Моя высылка сильно затянула дело, усложнилась связь, последние согласования, – и растянулось это до осени. Весь октябрь и ноябрь мы ждали от друзей из Москвы сигнала: когда назначена их пресс-конференция, чтобы нашу назначить через день. Андрей Тюрин, звоня из Москвы как бы по частному делу, условной фразой открыл нам, что они дают – 14 ноября. Тотчас стал я собирать свою пресс-конференцию на 16-е.

В то время КГБ ещё давало нам свободный телефонный перезвон с Москвой, и вечером 14-го я позвонил И. Р. Шафаревичу открыто, узнать, как прошло. Разговор я записал подробно, и сейчас освежил в памяти. Черты этой пресс-конференции при немалом событии – декларативном самообъявлении независимого направления русской мысли, с острой опасностью для участников, – так характерны для новостийно-газетного, легкоплавающего восприятия. наших выступало четверо (не-анонимы). Из пришедших корреспондентов ни один не владел русским языком настолько, чтобы понимать теоретические положения. (Да от газетчиков – и не ожидается к ним интерес. Это была наша ошибка.) Вместо этого все два часа мучительно растолковывали им элементарное – в стране, где они аккредитованы годами и должны бы понимать пронзительно и стремительно! Им говорили об основных признаках советской жизни – погубленной деревне, разоряемой природе, подавленных верующих, обширных лагерях, об отсутствии самосознания, – из-за всего их тревожила только нынешняя еврейская эмиграция, и не тем, что образованные люди толпами покидают страну, а: каковы перспективы этой эмиграции развиваться свободно, без правительственных ограничений? – ведь эмиграция вполне обоснованна, раз в этой стране упадок культуры, а эмигрантам будет лучше на новом месте.

Сходные ошибки допустил и я на своей цюрихской пресс-конференции. Для мощной поддержки наших ребят я размахнулся устроить её как можно шире, громче, международной. Да ведь и символ же какой виделся в том, что вот из Цюриха оглашается документ, сводка выводов, в которых группа русских людей рассказывает, чем кончилось то 60-летнее злодейство, которое Ленин поехал совершать именно из этого самого Цюриха. Сперва добивался

я в городе зала с оборудованием для одновременного многоязыкового перевода. Не удалось. Ладно, решили просто у себя дома, растворив дверь между двумя комнатами. Долго составляли список приглашаемых. Хотелось – побольше, но более 30 человек поместить было невозможно. И верно же советовала мне Аля как можно короче говорить, свести к факту появления, мужеству составителей и самым ярким местам книги, – я же не мог себя подавить и отказаться от подробного обзора статей, перевод шёл последовательный, час моей речи да час перевода, корреспонденты осовели, только крутились магнитофоны русскоязычных западных радиостанций, только они что-то и спасли. – После перерыва перешли к вопросам. По существу проблем сборника их, конечно, не было, а тоже сбились на политику: как понимать наш сборник – как «левый» или как «правый»? – только так, в плоскости, могли они расположить и усвоить. Появление сборника – является ли частью международной разрядки? (И это спрашивает Европа – Россию! Дожили.)

Сложное петлистое развитие, которое предстоит совершить России, да и многим народам, попавшим под коммунизм, неуместимо в линейность современной западной информации. Возможно, мы в этом сборнике преувеличили «нацию как личность» сравнительно со всечеловечеством христианства, – но мы дружно чувствовали так. Вероятно, оттого, что – мучительное состояние, и нам предстоит ещё много в нём проработать: русская нация уже умирает, и вот через наше горло прокричала о своей боли. (Ещё я переоценил значение русской эмигрантской прессы: я придавал ей значимость соединения русских сил за рубежом – одна достойная бы для неё роль, но именно её русская пресса не несла, все группы, напротив, ожесточались в разъединении. Из приехавших на пресс-конференцию эмигрантов – вожди НТС и Пирожкова, редактор «Голоса Зарубежья», ждали от нас обещания скорой революции в СССР – и никак не устраивало их всего лишь «жить не по лжи», революция нравственная. В. Максимов – просидел безучастно и потом никак не отразил в «Континенте», отчётливо не примкнул к нам.)

Но так или иначе, от дерзкой ли нашей выступления⁶⁵, достаточного международного отгула и потом широкого издания «Из-под глыб» в Соединённых Штатах и Франции, – репрессивного движения советских властей по этому сборнику не произошло, не преследовался прямо никто – хотя не обвинишь Советы в потакании русскому национальному осознанию.

В самые напряжённые дни выпуска «Из-под глыб» – на тебе, приглашение из Оксфорда: получать степень доктора литературы, да когда? – в конце будущего июня, а ответить непременно тотчас. Да можно бы и получить, почёт, получали в Оксфорде и Чуковский и Ахматова, да мы так напряжены со временем, и – да милые мои, разве можно вам открыть, где я буду в будущем июне? Уже за океаном. – Нет, не придётся. Поблагодарил и отказался.

Ещё одна неоконченность прошлых лет оставалась – получение Нобелевской премии. Подошёл и декабрь. У прекрасного старого цюрихского портного сшили фрак – на одно надевание в жизни? Чтобы больше видеть Европу глазами, мы с Алей поехали поездом. Какой прекрасной описывает Бунин свою железнодорожную поездку в Стокгольм, из тех же почти мест. А я – не нашёл лучшего расписания. Почему-то в Гамбурге утром наш спальный вагон отцепили – перетаскиваясь с чемоданами в другой вагон или в другой поезд, а позже опять, и опять. Так до Швеции мы испытали пять пересадок. По Швеции ехали долгим тёмным вечером, не видя её, а спутник по купе, бывший западногерманский консул в Чили, рассказывал

⁶⁵ ...от дерзкой ли нашей выступления... – Имеются в виду не санкционированная властями пресс-конференция авторов сборника в Москве и спустя день пресс-конференция в Цюрихе, созданная Солженицыным. Полный текст обеих см.: Две пресс-конференции: К сборнику «Из-под глыб». Paris: YMCA-Press, 1975; см. также: Пресс-конференция о сборнике «Из-под глыб» (16 ноября 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 130–166. Сокращённый англ. перевод: Press conference on the future of Russia, Zurich, 16 November 1974. London: Zaria, 1975.

нам о безстыдстве и шарлатанстве тамошних «революционеров». – «Да вам бы об этом книгу издать!» – «Что вы, разве можно? Заклюют. ФРГ – уже почти коммунистическая страна».

Чтоб избежать корреспондентской суматохи, мы уговорились приехать тайно и не с главного стокгольмского вокзала (да подлавливать-то могли скорей на аэродроме). Шведский писатель Ганс Бьёркегрэн, он же и мой шведский переводчик, и ещё один переводчик Ларс-Эрик Блумквист вошли к нам в поезд за час до Стокгольма. А на последней перед ним станции мы сошли – и на пустынном перроне нас приветствовал маленький худощавый Карл Рагнар Гиров. Вот как закончилась наша длинная нобелианская переписка и вот где мы встретились наконец: без единого западного корреспондента, но и без единого советского чекиста, совсем было пусто. Оттуда просторным автомобилем поехали в Стокгольм и достигли того самого «Гранд-отеля», от которого меня в 1970 отговаривал напуганный Нобелевский комитет⁶⁶. Всё же на ступеньках уже дежурили фотографы и щёлкали, совсем тихо приехать не удалось. Стоит отель через залив от королевского дворца, фасадом к фасаду. По мере прибытия в честь приехавших лауреатов поднимаются на отеле флаги.

В нашей советской жизни праздники редки, а в моей собственной – и вообще не помню такого понятия, таких состояний, разве только в день 50-летия, а то никогда ни воскресений, ни каникул, ни одного безцельного дня. И вот теперь несколько дней просто праздника, без действия. (Впрочем, натолкались и дела – визитами, передаваемыми письмами. Настойчиво устроили нам внезапную встречу с баптистским проповедником Биллом Грэмом, исключительно популярным в Америке, а мне совсем неизвестным. Приходил эмигрант Павел Веселов, ведущий частные следствия против действий ГБ в Швеции, и со своей гипотезой об Эрике Арвиде Андерсене из «Архипелага»⁶⁷.) Следующий день был совсем свободен от расписания – да *день* ли? даже после невских берегов поражает стокгольмский зимний день своею краткостью: едва рассвело – уже, смотри, вот и полдень, а чуть за полдень заваля – и темно, в 3 часа дня наверно. В эти дневные сумерки наши дружественные переводчики повезли нас в Скансен. Это – в пределах Стокгольма чудесный национальный заповедник на открытом воздухе: свеженные с разных мест Швеции постройки, кусок деревни, ветряная и водяная мельницы (всё в действии), кузня, скотный двор, домашняя птица, лошади и катанье детей в старинных экипажах, само собой и зоологический сад. Зимой под снегом многое приглушено, но тем ярче и привлекательней старинные жилища с пылающими очагами, раскаткою и печевом лепёшек на очаге, приготовленьем старинных кушаний при свечах, старинными ремёслами – тканьём, вязаньем, вышиваньем, плетеньем, резьбой, продажей народных игрушек, стекла, – а базарные ряды гудят, и в морозной темноте снимают вам с углей свежежареную рыбу. Все веселятся, а дети более всех.

Вот это, пожалуй, и было самое яркое впечатление из всех стокгольмских дней. Неприличные часы праздничного веселья. И радости-зависти, что ведь у нас в России могли бы быть народные заповедники не хуже, без проклятого большевизма, – а всю нашу самобытность вытравили, и, наверное, навсегда... (А ведь и у нас затевал Семёнов-Тян-Шанский в 1922 году из стрельнинского имения великого князя Михаила Николаевича устроить «русский Скансен», – да разве в советское лихолетье такое ко времени? Попечатали в «Известиях» и закинули. Не к тому шло.)

⁶⁶ ...напуганный Нобелевский комитет. – В ноябре 1970 Шведская академия и Нобелевский фонд опасались в случае приезда Солженицына в Стокгольм демонстраций против него маоистски настроенных студентов и потому предлагали отказаться от «Гранд-отеля», где все лауреаты останавливаются, – «а они спрячут меня на тихой квартире» (Бодался телёнок с дубом (гл. «Нобелиана») // Собр. соч. Т. 28. С. 295–296).

⁶⁷ Об Эрике Арвиде Андерсене, с которым Солженицын встретился на Куйбышевской пересылке в 1950-м, см. в «Архипелаге...»: Собр. соч. Т. 4. С. 459–460 (Ч. II, гл. 1: Корабли Архипелага), 482–484 (гл. 2: Порты Архипелага); Т. 6. С. 362 (Ч. VI, гл. 5: Кончив срок).

Ещё на следующий день удалось нам побродить часа два по старому городу на островах – вокруг королевского дворца старыми улочками, и по Риддархольмену с его холодными храмами. А все памятники Стокгольма едва ль не на одно лицо: все позеленевшие медные, все стоймя и все с оружием (умела когда-то эта нация воевать). Стокгольм как бы не гонится за красотой (чрезмерные водные пространства мешают создавать ансамбли через воду, как в Петербурге) – но оттого очень подлинен. И угластые площади его – неопределённой формы, не подогнанные.

Затем был обед, традиционно даваемый Шведской Академией лауреату по литературе, в данном случае нам троим, этого года лауреаты были два милых старичка-шведа – Эйвинд Юнсон и Харри Мартинсон, и третий к ним – я, на четыре года опозданный. Это происходило в ресторане «Золотой якорь», очень простой старый дом, и досчатые полы, и домашняя обстановка. Тут и собираются академики каждый четверг обедать – обмениваться литературными впечатлениями и готовить своё решение. Едва мы вошли в залик – и уже какой-то плечистый, здоровый, нестарый академик тряс мне руку. С опозданием мне назвали, что это – Артур Лундквист (единственный тут коммунист, который все годы и возражал против премии мне).

А всего академиков было, кажется, десять, больше старички (но не только), были весьма симпатичные, а общего впечатления высшего литературного ареопага мира не составилось. И покойное течение шведской истории в XX веке, устоявшееся благополучие страны – может быть, мешали вовремя и верно ощутить дрожь века. В России, если не считать Толстого, который сам отклонил («какой-то керосинный торговец Нобель предлагает литературную премию», что это?), они пропустили по меньшей мере Чехова, Блока, Ахматову, Булгакова, Набокова. А в их осуществлённом литературном списке – сколько уже теперь забытых имён! Но они и присуждают всего лишь в XX веке, когда почти всюду и литература упала. Никто ещё не создал объективное высшее литературное мировое судилище – и создаст ли? Остаётся благодарить счастливую идею учредителя, что создано и длится вот такое.

Наверно, никогда за 70 лет Нобелевская литературная премия не сослужила такую динамичную службу лауреату, как мне: она была пружинным подспорьем в моей пересылке советской власти.

Но мечтается: когда наступит Россия духовно оздоровевшая (ой, когда?), да если будут у нас материальные силы, – учредить бы нам собственные литературные премии – и русские, и международные? В литературе – мы искушены. А тем более знаем теперь истинные масштабы жизни, не пропустим достойных, не наградим пустых⁶⁸.

Накануне церемонии собирали лауреатов на потешную репетицию: как они завтра вечером будут перед королём выходить на сцену парами и куда рассаживаться. 10 декабря так мы вышли, и неопытный, молодой, симпатичный, довольно круглолицый король⁶⁹, первый год в этой роли, сидел на сцене рядом со своей родственницей, старой датской принцессой Маргрет, она – совершенно из Андерсена. Уже не было проблемы национальных флагов над креслами лауреатов, как в бунинское время, их убрали, – и не надо было мучиться, что же теперь вешать надо мною. При каждом награждении король поднимался навстречу лауреату, вручал папку диплома, коробочку медали и жал руку. После каждого награждения зал хлопал (мне – усиленно и долго), потом играл оркестр – и сыграли марш из «Руслана и Людмилы», так хорошо.

Господи, пошли и следующего русского лауреата не слишком нескоро сюда, и чтоб это не был советский подставной шут, но и не фальшивая фигура от новоэмигрантской извращённости, а его стопа отмеряла бы подлинное движение русской литературы. По забавному пред-

⁶⁸ Литературная премия Александра Солженицына была учреждена в России Русским общественным фондом в 1997 году и с 1998-го вручается ежегодно. О лауреатах этой премии см. на официальном сайте Солженицына: URL: <http://www.solzhenitsyn.ru/litpremiya/>.

⁶⁹ ...*круглолицый король*... – Карл XVI Густав (р. 1946) был провозглашён наследным принцем в 1947 году после гибели его отца в авиакатастрофе. Королём Швеции стал в 1973-м, после смерти деда, короля Густава VI Адольфа.

сказанию Д. С. Лихачёва литература будет развиваться так, что крупные писатели станут приходить всё реже, но каждый следующий – всё более поражающих размеров. О, дожить бы до следующего!

Да, в этот день были же и дневные часы, короткий утро-вечер, но сегодня ведренные, без облаков, с холодным низким солнышком, резко-морозным ветерком. Нобелевская лекция моя напечатана уже два года назад, заботы нет, а банкетное слово ещё в 1970-м сказано, урезанное⁷⁰, но сегодня не обойтись без нового банкетного слова. Я составил его ещё накануне. Однако рассеянное состояние головы, много впечатлений, отвлечений, – и эти короткие фразы не ложились уверенно в голову, а никак не хотелось мне читать с бумажки, позор, – но и сбиться не хотелось. И я пошёл прогуливаться невдали по узкому полуострову Скепсхольмену, с видом на Кастельхольмен, с редко расположенными в парковой обстановке перемененно – домами старинными и новыми; и, по-тюремному, ходил по аллее туда-сюда, туда-сюда, туповато запоминать наизусть и поглядывал на красное, как бы всё время заходящее на юге солнце. А два полицейских дежурили тактично в стороне, наблюдая за подходами ко мне. Почти это было – как спецконвой сопровождает и охраняет избранного ээка.

В ратуше опять мы церемонийно шагали с предписанными в программках дамами и, ни позже ни раньше, в какой-то момент, вослед за королём, садились на свои места, обозначенные табличками. (Со мною была дама из рода Нобелей, ещё говорящая по-русски. Аля сидела напротив с видным посланником.) Банкет был в этом году в самом большом зале ратуши, и столов 20 гостей уже были плотно усажены прежде нас. Где-то тут совсем близко сидели приглашённые мною Стиг Фредриксон с Ингрид, верные спутники нашей борьбы, однако они терялись в массе гостей, мне очень хотелось выделить их, подойти к их столу, – но соседка моя объяснила, что это было бы дерзёйшим и невиданным нарушением церемониала: пока король сидит, никто из гостей не смеет приподняться. Еле я удержался. А потом подошёл и момент, когда подняться требовалось – идти к трибуне, говорить своё *слово*⁷¹. Все лауреаты читали по бумажкам, мне удалось прочесть на память, неплохо. (Би-би-си, «Свобода» донесут голос до наших.)

А в общем, наивен я был четыре года назад, призывая их за этим чопорным банкетом думать о голодовке наших заключённых.

Но больше: продешевился бы я крепко, вот только ради одного такого церемонийного дня – уехавши бы из России добровольно, да от неё тут же и отсеченный: тут в Стокгольме и узнать о лишении гражданства: упала секира, сам уехал? Хорош бы я был? (Аля поняла это в 1970 раньше меня.) И чем бы я тогда отличался от Третьей эмиграции, погнавшей в Америку и Европу за лёгкой жизнью, подальше от русских скорбей?

Сейчас хор студентов с галереи зала пел мне, с сильным акцентом, «Вдоль по улице мятелица мятёт», – так, слава Богу, не сам я эту улицу избрал, но шёл, как каждый ээк идёт, судьбою принуждённой.

На следующий вечер, 11 декабря, был ужин у короля во дворце, и к нам с Алей представлен ещё один русскоговорящий старичок из рода Нобелей. Дворец был мрачен и пуст, так огромен – совсем уже не по маленькой Швеции. Где-то в одном его крыле жил молодой король, ещё не женатый, – из нашего «Гранд-отеля», через залив, многие окна дворца были видны

⁷⁰ Нобелевская лекция А. И. Солженицына была напечатана в 1972 году на русском, шведском и английском языках в официальном сборнике Нобелевского комитета «Les Pris Nobel en 1971». См. также: Публицистика. Т. 1. С. 7–25. О перипетиях вокруг приветственного слова на банкете в Стокгольме в 1970 году см.: Бодался телёнок с дубом // Собр. соч. Т. 28. С. 300–303 (гл. «Нобелиана»), 665 (Прилож. 17).

⁷¹ Поблагодарив Шведскую академию не только от себя, но и от «обширной неказённой России», Солженицын так завершил своё «Слово»: «Академия выслушала много упрёков за это своё решение – будто такая премия служила политическим интересам. Но то выкрикивали хриплые глотки, которые никаких других интересов и не знают. Мы же с вами знаем, что работа художника не укладывается в убогой политической плоскости, как и вся наша жизнь в ней не лежит и как бы не держать нам в ней наше общественное сознание» (Слово на Нобелевской церемонии (10 декабря 1974) // Публицистика. Т. 1. С. 223–224).

тёмными. Теперь в зале нас выстроили изогнутой вереницей, попеременно дам и мужчин, впереди стал самоуверенный премьер социалист Пальме, истинный хозяин положения, и король начал обход с него. А рядом со мной была тоже дама социалистическая – госпожа Мюрдаль, то ли бывший, то ли нынешний министр по разоружению, говорили мы с ней по-немецки, а политический диссонанс между нами был – как скрести ножом по тарелке. Обеденный зал, как галерея-коридор, с длинным столом вдоль, очень эффектные старинные стены, мебель, церемониймейстер за стулом старой королевы, – а обед был скучный, да и скудноватый, шутили мы с Алей, что Пальме совсем до ноля срезал королевский бюджет. После обеда было церемонийное стояние с кофе и напитками в предзалье; минут сорок, пока король не ушёл, – все должны были стоять. Аля не удержалась и через нашего старичка спросила короля: трудно ли быть королём в наш век? Он отвечал очень просто и серьёзно.

Ещё на следующий день я назначил пресс-конференцию⁷², а перед тем ездил к несчастной матери Рауля Валленберга, 29 лет уже сидящего, если не умершего, в советской тюрьме. (Его я первоначально понимал как моего Арвида Андерсена, – «Архипелаг», часть II, гл. 2, – но не сошлось.) И пресс-конференция если была чем полезна и нужна, то только тем, что я пространно говорил о Валленберге и упомянул потом Огурцова, в то время пробно сажаемого в психушку. Конференцию эту я созвал, предполагая отдать свой долг прессе за целый год пребывания на Западе, – и опять ошибся. Корреспондентов было больше половины шведских да русско-эмигрантских, со своими специфическими вопросами. А для западной прессы Стокгольм был – отдалённый угол, где ничего важного не могло быть сказано, никого серьёзного и не прислали. А для меня, для писателя, форма пресс-конференции, как, впрочем, и интервью, – совершенно ненужная, чуждая форма. У писателя есть перо – и надо выражаться самому, и письменно.

Всё не находил я правильно, как же с этой прессой обращаться.

На обратном пути заехали мы на день во Франкфурт-на-Майне, познакомиться с «Посевом» и ведущими НТСовцами. Моё первое касание их было – Евгений Дивнич в Бутырках 1946 года. Он производил сильнейшее впечатление своей пламенной (и православной) убеждённостью, но никакого НТС я тогда не расчуял, даже название не уловил. Потом в СССР годами нас страшили НТСом как самым ужасным пугалом. (Отчего думать надо, что советская власть их всё-таки побаивалась: ведь единственная в мире организация против них с открытой программой вооружённого свержения.) Из радио знал я потрясающий случай, как агент госбезопасности Хохлов отказался убить их лидера Околовича (теперь повидали мы и старичка Г. С. Околовича, уже без трагического флёра). Потом наезжали к нам в Цюрих то В. Поремский, то Р. Редлих, присылали свою программу-устав, читал я их. Душой – я вполне сочувствовал начинателям их Союза, молодёжи русской эмиграции в Европе в 20–30-е годы: естественный порыв переосмыслить и прошлое и будущее, искать собственные пути к освобождению России. Но вот читаю теперь – и ощущение какой-то неполномерности, недотянутости до полного уровня и полного объёма. Программа их с использованием мысли о солидаризме (а не классовой борьбе!) как главной движущей силе развития человечества составлена была настолько безнационально, без всякого даже упоминания русской истории или её особенностей, что довольно было бы вместо «наша страна» везде подставить Турцию – и равно пригodiлось (не пригodiлось) бы для Турции. Теперь мы наблюдали НТСовцев сутки, устроено было теоретическое заседание со всем их руководством, – и впечатление, увы, подтверждалось: не слишком живоносная ветвь поражённой, рассеянной, растерянной русской эмиграции. В революцию затмилось русское небо и не стало видно вечных звёзд, утерялась связь с уверенным ходом их – и остались мерки подручные. И для освобождения России никак бы не могли в те годы придумать НТСовцы другой формы и метода, как создать такую же централи-

⁷² Пресс-конференция в Стокгольме (12 декабря 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 167–201.

зованную заговорщицкую партию, как большевики, только с другим знаком, чистую. Однако и признаться: если кто в эмиграции ещё и держал какой-то живой обмен с кем-то в советском населении, то именно НТС. Их долгой истории я не изучал, были у них и конфликты, разрывы, отходы, были большие сложности в подгитлеровское время – однако ж вот устояли. Все они жили весьма скудно, всё отдавалось борьбе, как у прежней революционной интеллигенции, но ветер века не подхватывал их паруса, а, напротив, больно сбивал. И из атакующего брига они невольно дали большевикам превратить себя в пугало с опавшими чёрными парусами, которого наши соотечественники только боятся, сторонятся. Внушительно говорили НТСовцы о своей подрывной противобольшевицкой деятельности и агентуре в СССР – и можно было бы поверить, если б мы не были сами из той страны и не ощущали, что тут больше самовнушения, а до «подрывной деятельности» далеко. Главные мыслители их не поражали крупностью, просто непрременные теоретики, нельзя же партии без них. Но и не без живых умов было их руководство – а не было под ними истой почвы, в которой бы им укрепиться, не было слияния с той народной жизнью, как она развивается под большевиками, – да ведь это искусственно как воссоздашь? При всём их идеализме, динамизме – как присоединиться к текущей, значит подсоветской, российской, жизни и как повлиять? Все они сильно дисциплинированные, централизованные, политизированные, – а какого-то вольного дыхания, жизненной простоты не могли добрать. Все они православные, построили свою церковь, все посещали службы, отличный хор, – но и это ведь скорее мысленная Россия, прошлая, будущая, а не сегодняшняя. Состарились те молодые, которые когда-то начинали Движение, потом вливалась в них частью Вторая эмиграция, затем вырастала тут своя молодёжь, – а стоит ветка как отдельная, не соединённая со стволом. Таково заклатье жизни вдали от своего народа... И это ж ещё насколько жертвенней тех тысяч из эмигрантской молодёжи, кто без сопротивления дал себе уплыть дорогой западного благополучия. Нет, у какого другого народа эмиграция, может быть, и сила, да не у нас. Органично для русских?.. – увы, отрицать трудно.

И с особенно тревожным чувством присматривались НТСовцы к новоприбывающим из СССР, искали единения и понимания с ними, – а далеко не всегда находили. И невольно становились перед вопросом: на что ж им надеяться?

Возвращение в Цюрих принесло вполне неожиданный сюрприз. За время нашей поездки адвокат Хееб получил и теперь передал мне письмо от цюрихской «полиции для иностранцев» (в многоприютной Швейцарии есть такая). Её шеф Цеентнер (Zehntner) писал, что, согласно сообщениям прессы, Александр Солженицын дал 16 ноября в Цюрихе пресс-конференцию. При этом он не только представлял эссе некоторых советских авторов, но высказал критические соображения о коммунизме вообще и о роде и способе, каким он практически осуществляется в Советском Союзе. И высказывания его, по крайней мере частично, имели политическое содержание. Так вот, согласно решению швейцарского правительства от 1948 г. касательно политических речей иностранцев, иностранцы, ещё не обладающие швейцарским подданством, могут высказываться на политические темы как на открытых, так и на закрытых собраниях – только с разрешения. Однако такое разрешение не было получено для упомянутого собрания. Просит полиция моего адвоката обстоятельно разъяснить Александру Солженицыну прилагаемое правительственное решение. А в будущем требуется, чтобы перед каждым таким собранием испрашивалось бы разрешение цюрихской полиции не позднее как за десять дней⁷³. («Десять» и в его фамилии было корнем: Десяткин? Десятник?)

⁷³ Текст письма шефа полиции д-ра Цеентнера адвокату Солженицына д-ру Хеебу см.: Краткие пояснения // Публицистика. Т. 2. С. 601.

Десять суток! Фью-у-у-у! Вот так приехал в свободную страну! Да неужели же в свободной стране правительство отвечает за частные высказывания жителей? Почему правительству надо брать на себя ответственность за их молчание? Да мне и КГБ таких указаний не выставляло: не высказываться на политические темы или за десять дней спрашивать у них разрешения! То есть даже так надо понять, что, если я хочу у себя в доме вести политическую беседу с приятелями («закрытое собрание») – я должен предупредить полицию за десять дней?!

Как будто звук боевого рожка снова доносится до уха! Привычный позыв – да немедленно ответить им публично! грохнуть! Благодетели! – приют мне предоставили! – чтобы я молчал глуше, чем в СССР?

И – не удержался бы, скорее всего так прямо, неприлично бы и грохнул! – трудно отстать от навыка. А – как же мне дальше тут жить с заткнутым ртом?

Но уже есть швейцарские друзья, наши добрые Видмеры, перед которыми неудобно сделать такой шаг, не посоветовавшись: не отвечают они за всё швейцарское, даже за всё цюрихское, хоть Видмер и главный в Цюрихе человек, а не хочется делать им больно. И они, конечно, в ужасе от моего проекта, отговаривают.

Потом и – радость Советам не хочется доставлять: как меня тут прижали.

А потом: отъезд из Швейцарии всё равно решён, а теперь – тем более безповоротно. То, что длится сейчас, – это временное, переходное состояние, европейская пересадка. Разве мы тут поселились, пускаем корни? мы чуть-чуть держимся. Это письмо из полиции только лишний раз толкает: да, да! здесь – не моё место.

Нет, ехать дальше.

Но ответ полиции я пишу выразительный: на указанной пресс-конференции я не только не высказывался за насильственное свержение советского режима, но всячески предостерегал от таких действий. А вот Ленин в 1916–17, живя здесь, в Цюрихе, открыто призывал к свержению всех правительств Европы, в том числе и швейцарского, – и таких предупреждений от швейцарской полиции не получал. И оговорил, что когда-нибудь, может, это письмо опубликую⁷⁴.

Одновременно всё же прощупал: да неужели уж так ничего в Швейцарии не смею? В Москве вышли с секретарей ЦК моего «приятеля» Демичева – и я высказался в «Нойе Цюрхер цайтунг» о новом повороте в СССР⁷⁵. Ничего, прошло без полиции. Письменно – можно. (А через два месяца выступил в Цюрихском университете перед студентами-славистами⁷⁶, правда, всего лишь на тему о русской литературе и языке, ни о чём другом, – тоже прошло безпоследственно.) Но вот в эти самые месяцы одна швейцарская торговая фирма уволила свою служащую, переводчицу, по протесту советского клиента: на его бранные слова о Солженицыне переводчица спросила: «Да читали ли вы его?» И – уволена!

Независимая, свободная старейшая демократия Европы! Нет, я скорее понимал тот стонущий зов, который увлёк почти всю Вторую эмиграцию за океан: кто отведает советского рая – тот делает выводы до конца. Во мне наслоились тюремные потоки 1945–46 годов («схваченные

⁷⁴ Письмо было впервые опубликовано в 1983 году в составе 10-го тома «вермонтского» собрания сочинений (см. в наст. изд. коммент. 17 к гл. 4). Текст см.: В полицию для иностранцев Цюрихского кантона (7 января 1975) // Публицистика. Т. 2. С. 202–203.

⁷⁵ ...высказался... о новом повороте в СССР. – «Новый период в СССР» – западное выражение середины 70-х в связи с надеждами «разрядки». Солженицын писал: «Снятие П. Демичева с секретаря ЦК по агитации и пропаганде... – несомненно был важнейший акт: признание краха всей стратегии борьбы против инакомыслящих в течение целого десятилетия – с весны 1965 года... Теперь признан поражением, неудачей допуск некоей “четверть-открытости” в советском государстве... при ней для подавления нужны чрезмерные усилия, гораздо эффективнее душить все протесты в зародыше, пресекать человеческое горло прежде, чем оно выскажет одну полную связную фразу... Тем и надеются достичь основного условия внешней “разрядки” – внутреннего глухого молчания» (Конец одного советского десятилетия (Январь 1975) // Публицистика. Т. 2. С. 204–205; Neue Zürcher Zeitung. 1975. 15 Jan.; New York Times. 1975. 16 Jan).

⁷⁶ Беседа со студентами-славистами в Цюрихском университете (20 февраля 1975) // Публицистика. Т. 2. С. 211–233.

в Европе», выловленные гебистами даже поодиночке, хоть в центре Брюсселя), я делил с ними камеры и этапы, я ощущал себя братом Второй эмиграции. Да может быть, никакого броска на Европу и не будет, но не хочу ежедённо томиться, что мои свободно разложенные архивы и рукописи могут погибнуть, – так «Красного Колеса» не написать.

Отъезд из Европы решён безповоротно, но тем ещё напряжённой тяга к России: да чем же ускорить её освобождение? Бродило во мне такое намерение: теперь, вслед за глухими вождями – да обратиться, с другого конца, к молодёжи Советского Союза? Вот, сохранился у меня и набросанный тогда проект, хотел приурочить его к Новому году:

«Наступающий 1975 год кончает собой три четверти XX столетия. Уже окрашено оно цветами, какие заслужило: красною кровью павших, чёрной тюрьмою мучеников и жёлтым предательством большинства. И всё же четверть столетнего поля ещё остаётся свободной для остальных, лучших красок спектра, и все они – в наших грудях и в нашей воле. И если бы на 4-ю четверть мы выплеснули бы наше лучшее – ещё изменился бы весь тон картины, и ещё могла бы она получить *смысл*, которого за 75 лет не составила. XX столетие, из самых позорных и в мире, и в нашей стране, – ещё можно спасти! Первый же год этого века в России был ознаменован (и, видно теперь, символически) мощным студенческим движением. Преследования тех студентов по нашей сегодняшней мерке были комичны, последствия их движения – ужасающие. Всё делалось ими от чистых сердец, но безо всякого общественного опыта, нахватавшими теориями революции и насилия. Сегодня, напротив, студенчество наше – в дремоте, немощи и старческом благоразумии: лучше жить на коленях, чем умереть стоя. Более запуганного и смиренного студенчества, чем в нашей стране, нет сейчас на земле нигде: студенты арабские, эфиопские и тайландские поражают развитием и смелостью по сравнению с нашими. Но этим сегодняшним индивидуальным благоразумием вы и на 4-ю четверть столетия копаете себе ещё одну братскую могилу коллективного рабства. Кому сегодня 20 лет – к концу столетия будет под 50, вся лучшая часть вашей жизни и пройдёт в избранном рабстве. Вы ждёте освобождающего чуда? Ниоткуда оно не спустится. Либо – сами вы это чудо добудете, либо – не будет его. И кому же менять условия в нашей стране, если не вам?..»

Не дописал.

Сомнение: ещё как будто я имею право так обращаться к ним, сам недавно из боя, а может быть, за этот неполный год безопасности, уже и потерял право? *отсюда – туда* – может быть, уже не смею так?

Отъезд из Европы – безповоротен, и даже уже намечен на эту весну. Конечно – Канада. Огромная, тихая, богатая, ещё силы своей не сознающая дремливая Канада, и такая северная, и такая похожая на Россию, да через Аляску и граничащая с ней. Вдруг что-то родное?

Батюшки, остаётся всего лишь несколько месяцев, а мы и Европы до сих пор не видели! мы даже в Париже не были ни разу! Быстро собираемся, катим туда, прямым поездом 6 часов, – но сколько ж времени, о Господи, получать визы! Нам, иностранцам, неполноправным гражданам, каждый шаг – через визу.

Встретить в Париже Новый год. Аля едет в Париж больше как человек естественный: смотреть неповторимый заманный город, набережные, бульвары, картинные галереи, Нотр-Дам, живые легенды. А мне – по сжатым срокам моим и по объёму рёбер – да куда ж это всё вместить бы? Я и тут – с деловой, «революционной» целью: моё – это Париж русской эмиграции, какой он увиделся и достался нашим горьким послереволюционным эмигрантам – не сплошь всем, не тем, кто бежал, спасаясь, а той белой эмиграции, которая билась за лучшую долю России и отступила с боями. Это тоже – часть моего «Колеса», это всё туда входит: Париж Первой эмиграции, как она выживала тут полвека и больше, как исстрадалась и умерла. Коснуться русского Парижа.

Смешно так получилось: 27 декабря, только вышли мы с Восточного вокзала (ошеломлёнными глазами боясь допустить, что вот эти серые дома и узкая улица, по которой мы

поехали, и есть тот самый Париж, исчитанный с детства), как встречавшие Струве перекинули нам на заднее сиденье сегодняшнюю парижскую газету: на первой странице, словно выстроенные в ряд, сфотографировались четверо писателей новой «парижской группы»: Синявский, Максимов, Некрасов и Галич. А в интервью шла всячинка, Некрасов изумлялся обилию фруктов на Западе как самой поражающей его черте после изнурительного рабского Востока, а Галич уравнивал мои вкусы с брежневскими и предсказывал, что я *никогда* не приеду в ненавидимый мною Париж.

Поместились мы в Латинском квартале на улице Жакоб (рядом с издательством «Сёй») – в единственном изолированном мансардном номере, куда доводила крутая лестница, как корабельная и с морским канатом вместо поручня. Мансарда была достойно парижская, из окна одни крыши и каменные колодцы дворов. Погонял я по Парижу тоже немало, всё пешком, ещё сохраняя ноги и обычай юности (тут примешивается в память и второе посещение Парижа, той же весной, и ещё третье, через год), кажется, и видел всё главное, подобрал – не настолько, чтоб делиться с читателем, а чтобы хватило самому. (Лучший день тут был – прогулка с о. Александром Шмеманом, знатоком и города, и истории его, – он вёл меня и, по мере встречаемых мест, попеременно проводил то через Париж Людовиков, то через Революцию большую, революции малые, войну прусскую, Мировую первую, 30-е годы, немецкую оккупацию, да и те самые «русские» кварталы, к которым влёк меня главный интерес.)

Всю мою советскую юность я с большой остротой жаждал видеть и ощутить русскую эмиграцию – как второй, несостоявшийся, путь России. В духовной реальности он для меня не уступал торжествующему советскому, занимал большое место в замыслах моих книг, я просто мечтал: как бы мне прикоснуться и познать. Я всегда так понимал, что эмиграция – это другой, несостоявшийся вариант моей собственной жизни, если бы вдруг мои родители уехали. И вот теперь я приехал настигнуть эмиграцию здесь – но главная её масса, воинов, мыслителей или рассказчиков, не дождавшись меня, уже вся залегла на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. И так моё опозданное знакомство с ними было – в сырое, но солнечное утро, ходить по аллеям между памятниками и читать надписи полковые, семейные, частные, знаменитые и безвестные.

Я опоздал.

Правда, ещё кто-то жил в инвалидном доме по соседству с кладбищем, даже полковник Колтышев, очень близкий к Деникину в самую Гражданскую войну. Правда, в Морском собрании (особняк, ведомый старыми моряками) создали двух адмиралов и трёх полковников той войны. Ещё в разных местах Парижа навещал я старичков с памятью *того* времени, даже крупных по своим бывшим постам, или ездил к бережливым монархистам посмотреть в квартирке сохранённый уникальный фильм о царской семье. И ко мне в номер приходили старики, тогдашние молодые офицеры, рассказать перед магнитофоном впечатления революционных дней, деформированные сумраком полувека. Ещё повидал я и сына Столыпина, и бывшего сталинского приближённого Бажанова, добровольно покинувшего зенитную большевистскую карьеру. (В раннем издании «Архипелага» я упомянул, что его убили, он написал мне по-твеновски: «Слухи о моей смерти преувеличены».) А портье нашей гостиницы вдруг отвечал по-русски и оказывался не Жаном, а Иваном Фёдоровичем, с грустной косостью улыбки при этой вымирающей речи. А Новый год мы со Струве и Шмеманами отправились встретить в так называемый (уже только называемый для экзотики) русский ресторан Доминика на Монпарнасе – и сидела там состоятельная публика, чужая России, а старый русский официант, высокий статный мужчина, наверно бывший офицер, – в полночь надел для смеха публики дурацкий колпак и пытался смешить, едва ли не кукарекая. Сердце разрывалось от такой весёлой встречи. (Но и вообразить же можно было 55 этих встреч, с пожеланиями каждый раз – чтобы скovyрнулись большевики.)

В свою очередь предполагалось, что и я представлюсь старой эмиграции, соберутся они в каком-то зале, – но схватил сильный грипп, в тот новогодний раз мы уехали больные, а в другой приезд уже не пришлось как-то, – и никогда теперь уже не придётся, увы.

Не замирала и жилка современности: в наш мансардный гостиничный номер приходили к нам «невидимки» – Степан Татищев, Анастасия Борисовна Дурова, кто так основательно нам помогла, однако даже имя её мне не называлось прежде, а теперь она весело рассказывала о подробностях своей конспирации. Пришли и новые эмигранты Эткинды, ещё сильно не в себе от здешней жизни, особенно потерянная Екатерина Фёдоровна, и вспоминали мы как некое замороженное счастье – злосчастье тех дней, когда меж нами жил тайный «Архипелаг». (Нельзя было предположить, что вскоре обречены разойтись наши с Эткиндром дороги.) В другой вечер мы с Алей бродили со Степаном Татищевым по пляшущему световому базару Верхних бульваров, уговариваясь о подробностях будущих тайных связей с Россией.

Наконец посетил я со Струве русскую типографию Леонида Михайловича Лифаря, где печатался мой «Август», «Архипелаг» да и всё другое⁷⁷, – ту страшно тайную типографию, как я воображал её из Москвы, когда предупреждал Никиту Алексеевича: с рукописью в руках даже не перемещаться по Парижу в одиночку, – но разорвалось бы тогда сердце моё, хорошо, что не знал: типография Лифаря – это открытый двор, открытый амбар, куда может в любое время всякий свободно зайти и ходить между незаграждёнными стопами набора, того же и «Архипелага». Связь Лифаря с издательством «Имка» не могла не быть известна ГБ – и как же они проморгали подготовку «Архипелага»? почему не досмотрел сюда их глаз, не дотянулась рука, – и так моя голова уцелела? А Лифарь сам пережил 30-е годы в СССР – и вот почему всем сердцем воспринял «Архипелаг»⁷⁸.

Русская «Имка» имела за плечами весьма славную историю в русском зарубежье. В десятилетия, когда торжество коммунизма в СССР казалось безграничным, всякий свет загашен и растоптан навсегда, – этот свет, ещё от религиозного ренессанса начала века, от «Вех», – издательство пронесло, сохранило и даже дало ему расцвести в малотиражных книгах лучших наших уцелевших мыслителей – концентрат русской философской, богословской и эстетической мысли. Само название ИМКА, диловатое для русского уха, досталось издательству по наследству от американской протестантской организации (YMCA, Young Men's Christian Association), питавшей его небольшими средствами, затем завещавшей своих опекунов. Издательство начало действовать с 1924 года, первой книгой издав зайцевского «Сергия Радонежского», позже федотовских «Святых древней Руси», затем издавало С. Булгакова, Франка, Бердяева, Лосского, Шестова, Вышеславцева, Карсавина, Зеньковского, Мочульского. С 60-х годов книги «Имки» помаленьку стали проникать в Советский Союз, открывая нашим читателям неведомые миры. А моя связь из Москвы была не с «Имкой», а лично с Никитой Струве. Струве и был для меня «Имка», ясно было, что он её вёл и решал, с ним мы определяли все сроки печатанья, условия конспирации. И когда Бетта привезла в Москву, что в Париже объявился какой-то Морозов, который претендует, что имеет права на мои книги, – мы переполошились: ещё новый пират? ещё новый агент ГБ? – хотел я даже посылать гласное опровержение. Но когда по западному радио объявили о выходе «Архипелага» – то назвали Ивана Морозова как директора крохотной «Имки», до вчерашнего дня мало кому на Западе и известной. Вот тебе нá, откуда взялся?

А в Цюрих приехал Струве и подтвердил: да, директором у них – Морозов. И даже пришло письмо от Морозова с настоянием срочной встречи, но и какой-то сдвиг был во фразах, вызывал удивление. Н. А. объяснил мне, что Морозов все месяцы тайного набора «Архипелага» ничего о том не знал. В день же выхода первого тома Н. А. лежал больной, а книги вне-

⁷⁷ О русской типографии в Париже см.: Бодалас телёнок с дубом (Невидимки. 12) // Собр. соч. Т. 28. С. 588–590.

⁷⁸ И, по завету его, – «Архипелаг» его набора так и был положен ему в гроб. – *Примеч.* 1986.

запно пришли из типографии – и тут Морозов дал интервью прессе, рассказал об издательстве и о себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.